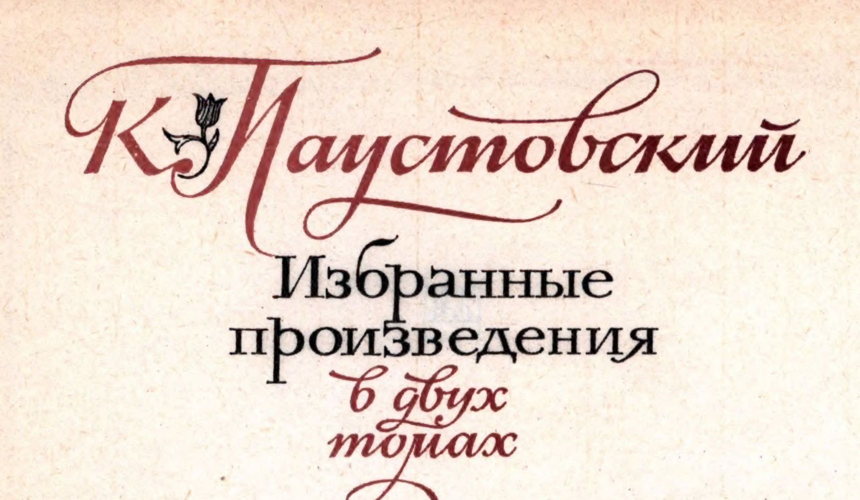
# К. Паустовский








Москва
«Художественная литература»
1977




# Золотая роза

повесть

# Рассказы

Москва
«Художественная литература»
1977

Р 2
П 21

Оформление художников
*А. ОЗЕРЕВСКОЙ, А. ЯКОВЛЕВА*



70302-381
П ————— без объявл.
028(01)-77


Золотая
роза
повесть

Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти.

*Салтыков-Щедрин*

Всегда следует стремиться к прекрасному.

*Оноре Бальзак*

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

## ДРАГОЦЕННАЯ ПЫЛЬ

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую

часовню с трескучим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

— Таких золотых роз мало на свете,— говорила мать Шамета.— Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник — бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Все может быть,— ответил Шамет.— Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий

солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за поношенной челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли,— престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Анналме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатым желтым ртом — тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо.— Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко —

старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем забыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня нет теперь дома,— быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом.— Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

— Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала.— Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

— Э-э, глупости! — пробормотал Шамет.— Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане,— погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

— Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

— У меня,— торопливо сказал он,— есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто — хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку:

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу,— проворчал ей напоследок Шамет,— то будь счастлива.

— Я ничего еще не знаю,— ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка,— недовольно протянул молодой актер и повторил:— Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна.— Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет.— Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил

к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал об этом. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег — любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность поношенного урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку — и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавлен-

ный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть»,— подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка — Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже,— все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу»— повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество

предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

## НАДПИСЬ НА ВАЛУНЕ

> Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних.
>
> *Салтыков-Щедрин*

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы — там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и, когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело — опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к лю-

бой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости — и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов — зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом «Мультатули». По латыни это означает «Многострадальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины — Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я — сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гезов» и Тиля

Уленшпигеля. До сих пор «пепел Клааса стучит» в сердца многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя — даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но... «пепел Клааса стучал в его сердце». И Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негоциантами.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмехался над вице-королем и его приближенными,— конечно, добрыми христианами,— ссылаясь, в объяснение своих поступков, на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули принял сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом — о своих соотечественниках.

Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинуясь голосу сердца, иными словами, повинуясь жившему в нем, но до тех пор еще не ясному призванию, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или Торговцы кофе». Но это была только первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга — «Письма любви» — была написана с потрясающей силой. Эту силу Мультатули давала исступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги напоминают то горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправед-

ливости, то едкие и остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства.

«Бога нет, или он должен быть добр,— писал Мультатули.— Когда же наконец перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме — у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег даже на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг — тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолел море». И, может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу.

Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник — художник Винсент Ван-Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван-Гога. Он мечтал создать во Франции «братство художников» — своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ван-Гог много перестрадал. Он опустился на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом.

Дело художника — рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше всего,— красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле — в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, для того чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван-Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал,— свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего — свои картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван-Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван-Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владетелями искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то, что она существует независимо от их воли.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом.

В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики,— ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя — не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди».

## ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой, когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным — будь это плотник с набором инструментов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов, разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие — пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!
Тихо падает дождь на полях.
И в края, где горит дымно-алый осенний закат,
Пожелтелые листья летят...

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красивости:

> И опалами блещет печаль о любимом Саади
> На страницах медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» — этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было какое-то определенное море — Черное, Балтийское или Средиземное,— а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь то экзотика тропических стран или гражданской войны.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой.

Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая — грозовая и влажная — страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с крас-

ными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.
Ты — нежная. Ты счастье мне сулила
На суетной земле...

С этим временем у меня была связана первая влюбленность — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае,— застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашённых стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

## ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович»,— еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядном, и кучер «Игнатий Лайола» (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидело двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия

Лойолы,— он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

— Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов,— сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках,— вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек.— За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося.— Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! — сказал с отчаянием Никифор.— Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и то не позволяют! — не слушая Иосю, сказал Никифор.— Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

— Хватит! — повторил Иося.— За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной,— спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор.— Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося.— Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной,— печально ответил Никифор.— Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор.— Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос.— Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской,— объяснил он со вздохом,— так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она.— Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчины не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня,— сказал парикмахер,— не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите
На мою могилку,
Колбасы мне принесите
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня.— И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер.— Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка,— сказала Маня.— На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу,— глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська,— светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер.— Это была женщина!

— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня.— Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин,— сказала она.— Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную,— говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она, как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая,— должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть,— сказал парикмахер.— Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня.— А как дойдет до дела, так будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце,— ответил парикмахер и пожал плечами,— какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

— Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

## МОЛНИЯ

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

— Представьте себе,— ответил Джинс,— исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно он зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание» замысла происходит совсем не так, как это представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».

Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:

— Мама, он мечту мечтает? Или что?

— Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту,— разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие несомненно звучат сейчас в его душе,— совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же, как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Критики,— сказал он вдобавок,— смешивают вдохновение с восторгом». Так же, как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше,— совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук, и, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов.

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесплодно, не одарив собою людей.

## БУНТ ГЕРОЕВ

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сто-

рону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались: нет ли поблизости пристава или городового? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

— Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и ихний характер знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми — не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков — Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

— Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и мощно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

2*

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как и Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

...Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий...

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: «Я вишу у дверей,— звони веселей!» «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой». Их зовут «дарвалдаями». Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками,— страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто.

Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то все приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик,— все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

— Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы,— говорил Алексей Николаевич Толстой,— не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в созна-

нии писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души.

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОВЕСТИ

### «ПЛАНЕТА МАРЦ»

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

— Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уноситесь с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и

вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

— Ну как? — спросил отец.— Ты видишь что-нибудь?

— Да,— ответил я.— Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди — марсиане — и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы.

— Ну, положим! — сказал отец.— Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном — итальянец Скиапарелли — и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на Звездочета никакого впечатления.

— И еще я вижу какую-то планету налево от Марса,— сказал я неуверенно.— Но она почему-то бегает по небу во все стороны.

— Да яка ж це планета! — добродушно воскликнул Звездочет.— То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс!

— Почему он красный? — спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля,— с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

— Значит, Марс — шар из песка? — спросил я.

— Да, пожалуй,— согласился отец.— То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» — верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

— Катится, кат, чертяка! Чтоб ему сгинуть навеки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

— Та то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье наближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

— Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я поплетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховей настиг меня на пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник.

— Господи, спаси и помилуй! — испуганно бормотала она.— Пречистая богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было — он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью.

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил:

— Когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито. И садочки и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

— Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил:

— Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

— А можно что-нибудь сделать? — спросил я.

— Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стену в две тысячи верст длиной.

— Почему? — спросил я.— Построили ведь китайцы свою Великую стену.

— Так то китайцы,— ответил отец.— Они были великие мастера, да и когда это было.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное беспокойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

## ЛИВЕНСКИЕ ГРОЗЫ

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я писал тогда мой первый роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он

стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина — продавца газет в станционном киоске — была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая— Анфиса и младшая — Полина.

Полина — слабенькая, прозрачная,— когда разговаривала со мной, то все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому,— только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал свой роман! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.

Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

— Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! — крикнула она и задохлась.

— Мать, уймись! — неуверенно прикрикнул хозяин на жену.— Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.

— Не нужны мне ваши проклятые деньги! — крикнула Анфиса.— Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

— Господи! — прошептала она.— Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

— Беда у нас,— сказал он за дверью мертвым голосом.— Не взыщите, что обеспокоил.

— А что случилось?

— Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

— Пойдемте на берег,— тихо сказала Полина.

— Фонарь у вас есть?

— Есть.

— Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

— Анфиса-а-а! — вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! — подумал я.— Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь едва светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

— Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! — говорил перевозчик и зевал — сон у него еще не прошел.— Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица!

Нашли Анфису на следующее утро около плотины.

В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.

Какая-то старушка сказала мне:

— Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади — боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее — не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные

дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.

Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.

Оказалось, что седой человек — брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от Советского правительства большую пенсию. А за что — неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач — Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

— Незачем вам здесь жить,— тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна.— Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким — одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.

Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым

человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

История болезни Шацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к басмачам. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго — он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны, начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

— Никогда так не ставьте туфли,— сердито сказал Шацкий.— Это опасно.

— Почему?

— Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

— Прочтите! — сказал он.— Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет Народных Комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит — маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать

психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь — и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы — всем ворам хоромы, Ливны — ворам дивны, а Елец — всем ворам отец».

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Ста-

рушка мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

— Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

— Иди к себе! — так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо,— страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

— Пустыня умеет только убивать,— говорил он.— Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

— Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без устали, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне — отголосок моих детских переживаний.

— Если бы люди,— говорил Шацкий,— потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.

— Вася! — громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна.— Успокойся! Войны больше не будет. Никогда.

— Никогда — это ерунда! — неожиданно ответил ей Шацкий.— Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела его, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Старуха все еще лежала. Старика не было дома. Полина пошла проводить меня до города.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней — одинокой и застенчивой — заполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

— Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку — по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной — не то болотной, не то речной — воде.

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая,

свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении — писать, писать и писать!

Но что писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни — так называемое «вынашивание» замысла, вернее — наполнение его реальным содержанием.

## ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

— Если жизнь сложится удачно,— говорил отец,— и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором — серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно резко запоминались.

Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного «знакомства» с некоторыми людьми.

У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе и он оставался бы для нас совершенно обыденным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа,— блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент.

Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это так.

Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности.

На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный цвет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами.

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам

Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти все, что мог найти в Ленинской библиотеке.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Наконец пришла пора ехать на Каспий, в Кара-Бугаз, но у меня не было денег.

Деньги я все же, хотя и с великим трудом, достал и поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скудные мои средства кончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты.

Для того чтобы написать эти очерки, я ездил в Астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки также помогли мне написать книгу о Кара-Бугазе.

На Эмбу я плыл по Каспийскому морю вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый колесный пароход назывался странно — «Гелиотроп». Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают — все это было медное. «Гелиотроп» напоминал начищенный кирпичом до яркого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря.

Тюлени лежали в теплой воде вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами.

На рыбачьих плавучих пристанях — рыбницах — свистели и хохотали вслед «Гелиотропу» белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей.

Белые облака и белые песчаные острова отражались в глянцевитой воде, и временами их было невозможно отличить друг от друга.

Городишко Гурьев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде.

В Доссоре на Эмбе сопели среди озер с ярко-розовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом. В окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки. На них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно.

При мне одного из инженеров укусила фаланга. Он через день умер.

Средняя Азия дышала зноем. Звезды по ночам светили сквозь пыль. Старые казахи ходили по улицам в широких

коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком — по розовой ткани были разбросаны огромные черные пионы и зеленые листья.

Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников астраханской газеты. Он затащил меня к себе, и я у него прижился.

Домик стоял на берегу Варвациева канала, в маленьком саду, где горами цвела настурция.

Я писал свои очерки в беседке — такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал.

Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина, весь день тайком плакала на кухне, перебирая распашонки,— у нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик.

Из Астрахани я уехал в Махачкалу, Баку и Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в «Кара-Бугазе».

Я возвратился в Москву, но через несколько дней мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал — в Березники и Соликамск.

Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы.

Там я начал писать «Кара-Бугаз» — в гостинице в Соликамске. Она помещалась в бывшем монастырском здании.

В гостинице пахло XVII веком — ладаном, хлебом, кожами. По ночам сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алебастровые соборы времен «царствования Строгановых».

Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать.

Вот очень короткая, рассказанная скороговоркой история «Кара-Бугаза». Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были на моем пути.

Вы, конечно, заметили, что только часть — и то, пожалуй, небольшая — собранного материала вошла в повесть. Большая часть его осталась за бортом книги.

Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги.

Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем.

Когда я работал над «Кара-Бугазом», я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лири-

ческим и героическим звучанием, которое можно выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах.

Все это способно с огромной силой ударить по сердцам, но при непременном условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю.

## ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

*Батюшков*

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает.

Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни.

Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни»,— не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала — живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни.

Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями («как бы чего не забыть»), конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками.

Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа, и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно, их наблюдать. Наблюдать, так сказать, «по долгу службы», из чисто деловых побуждений.

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь, Настя, жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах

стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная, с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твердо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом,— люди, события, отдельные частности и подробности,— это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова и портрет Полины Виардо.

Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Вся мебель — диваны, столы и стулья — была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы.

В доме было много смешных и уже ненужных вещей: медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки.

Было три толстых календаря — за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую — жену Пушкина — и Елизавету Ксаверьевну Воронцо-

ву — женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю: почему? Может быть, оттого, что в доме было мертвенно-тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи:

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Я ее стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой,— воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает,— забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад,— в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.

— Дорогой мой,— сказала Катерина Ивановна,— уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

— Не дай вам бог, родной мой,— сказала она мне,— дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повел ее домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мать!

Вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.

Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана.

Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку.

Тогда я заинтересовался Торвальдсеном, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.

А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.

Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница была далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.

Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.

Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей рукой,— приказ о том, что на нее надеть после смерти,— и отдал записку женщинам, что пришли утром прибрать Катерину Ивановну в последний ее путь.

Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала, прибранная, на столе, и я остановился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к ее корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, то можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это и происходит постоянно.

Сплошь и рядом для небольшого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.

Мне пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и об его биографии, о той среде, из которой он вышел.

Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы.

То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.

Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.

Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской яйлы.

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд.

Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».

Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов:

Прощай, земля! Корабль уходит в море,
И чайки след остался за кормой...

По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании.

Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба.

Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.

Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.

Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франка о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз.

В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину,

не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма.

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

## АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК

> Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.
>
> *Гоголь*

### РОДНИК В МЕЛКОЛЕСЬЕ

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аква марин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так *я* воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав,— в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабо-

чие, лесные объездчики, бакенщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши.

Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук.— Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть,— согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова,— неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся.— И вот скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом,— и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему

радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек — простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый «родник». Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит,— родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

## ЯЗЫК И ПРИРОДА

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них за-

ключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем

исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома́!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразительность слову.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам, — и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар».

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

Тот народ, который создал такой язык,— поистине великий и счастливый народ.

## ГРУДЫ ЦВЕТОВ И ТРАВ

Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят.

Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряный свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?

Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина.

Юрин был придирчиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России.

Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной, географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам.

Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.

— Вы знаете, как это называется? — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.

— Нет, не знаю.

— Свей,— ответил Юрин.— Ветер свевает песок в эту рябь. Потому и такое слово.

Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову.

Вот почему Есенин написал «ветряный свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы.

Родина Есенина — село Константиново (теперь Есенино) находилось недалеко за Окой.

В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей.

В этих, как будто безлюдных, лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими, крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день.

Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха,— должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу.

Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик.

Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о «воздушной трявоге».

— Трявога, трявога! — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом.— Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братию, а чему они в школе

научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги»! Вот скажу отцу, он тебя проучит.

— А мой Петька анадысь,— сказала другая девочка,— двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.

— Врешь ты все, Нюрка! — сказал басом маленький мальчик.— Петьку маменька утюжила. И то чуть.

— Ишь сопливый! — прикрикнула Нюрка.— Разговаривай у меня!

— Слушайте, девочки! — радостно воскликнула хрипловатая.— Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно.

— А чего ж он горит, Клава? — испуганно спросила Нюрка.

— Клад показывает,— ответила Клава.— Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания — они тут же и сбудутся.

— Дай! — требовательно сказал мальчик.

— Чего тебе дать?

— Карандашик!

— Отвяжись ты от меня!

— Дай! — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом.— Дай карандашик, дурная!

— Ах, ты так? — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок.— Несчастье мое! На что я тебя породила!

Мальчик непонятно почему, но сразу затих.

— А ты, милая,— сказала Клава притворным, сладеньким голосом,— не бей ребятишек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот, как я, действуй — учи их разуму. А то вырастут обалдуи — ни себе, ни людям никакой корысти.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка.— Попробуй поучи его! Он те дасть!

— Как не поучить! — возразила Клава.— Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки не знает. Даже как зовется вот этот цвет — и то не знает.

— Курослеп,— сказал мальчик.

— Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.

— Мядуница,— поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мята. Повтори за мной: мята!

— Ну, мята! — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?

Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала:

— Вот, глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чабрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав.

Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.

— Я обстрекалси-и-и! — вдруг густо заревел мальчик.— Куды вы меня завели, дурные?! В самые колючки! Теперь я домой не дойду!

— Эй, девчонки! — крикнул издали стариковский голос.— Вы чего малого обижаете?

— Да он, дед Пахом, сам обстрекалси! — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: — У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!

Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал:

— Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!

— Где лавит? — поспешно спросил мальчик.— Пусть мне дасть поудить!

— Куда полез? — крикнула Нюрка.— Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!

Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом:

— У вас, гражданин, покурить не найдется?

Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской.

Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал.

— Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку.

Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка — знает все цветы и травы.

— Это Клавка-то? — спросил он.— Да это колхозного ко-

нюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да,— сказал он, помолчав, и вздохнул.— У каждого цвета свое наименование... Паспортизация, значит.

Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я.

Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе.

Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Солнце уже садилось за Окой, за селом Есенином, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.

## СЛОВАРИ

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина:

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их,

они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа».

А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Баратынского:

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его, в зерцале зыбком вод,
Неверным золотом трепещет.

Думая об этих словарях, особенно о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые», «луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни.

Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь — для этого у меня не было необходимых познаний,— но хотя бы участвовать в работе над ним.

Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно.

Однажды почти все лето я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие.

Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени.

Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно.

Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом, старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружали такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно.

Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды (похожих на плоские двузубцы), репейника и других растений.

Дни стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь.

На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки.

Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались наконец до моей кожи и начали осторожно покалывать ее.

Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать.

Я опять отвлекся от «основной нити повествования» и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем. Тем более что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал — чисто сравнительное, отношение к литературе, в частности к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней».

Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы — романтического дерева наших парков.

Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти не заметен. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха.

В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана.

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в стозвучной лире мой прах переживет и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых всех времен и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета!

Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки.

После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых (почти фантастических) словарей.

У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие «личные» словари. Но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно.

То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, «свее» и именах разных трав и цветов,— тоже возобновленные в памяти «записи для словаря».

Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса.

Первое «лесное» слово, какое меня совершенно заворожило, было — глухомань. Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его (так же, как и слово «глушняк») от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань!»

А затем уже шли настоящие лесные слова: корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары (сухие лесные болота), гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием.

Даже такой сухой технический термин, как «лесной межевой столб» или «пикет», полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим.

Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой. Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала».

Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья, бабочки и озабоченно бегают муравьи.

Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему

медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека.

В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, в склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце.

Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб. И каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пережил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи и дни, и зиму и лето, будто дожидается тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев да повилика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты.

Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, подымаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода — зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой «суровой» водой.

С вышки можно охватить взглядом все дремучее полесье, весь торжественный лесной край — неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи.

Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане.

Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог, под звездами, светившими сквозь кроны сосен одним только нам (потому что все вокруг спало непробудным сном), пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман.

Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря.

— Вот так бы сто лет! — сказал Гайдар.— Тебе бы хватило?

— Вряд ли.

— И мне бы не хватило. Давай котелок. Поставим чай.

Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком, и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню:

Лес дремучий, разбойничий
Темен с давних времен.
Нож булатный за пазухой
Горячо наточен.

От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу.

Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не движение), когда лед начинает косо надкалываться и смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами, после того как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной («пряжей богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Осенняя пора — очей очарованье».

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом.

Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами.

Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы и, чтобы не сесть на мель, надо держать только по «главной струе».

Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку!

Паром — это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные.

Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада!

Чтобы узнать все деревенские — и не только деревенские — новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег.

Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром — высоким берегом — и толчется в воздухе и зудит мошкара.

Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, «легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца», но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор.

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях (их зовут дебаркадерами или «конторками»), около наплавных мостов-плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.

Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без Медного всадника в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве.

Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих стихотворений великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо дана Ока.

Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки:

...поемистой, дубравной,
В раздолье муромских песков
Текущей царственно, блистательно и плавно
В виду почтенных берегов.

Ну что ж, запомним «почтенные берега» и будем благодарны за это Языкову.

Не менее чем «природными» словами, богата наша страна местными речениями и диалектами.

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбора, мало понятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.

Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок.

Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные

по своей выразительности,— например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоем» — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоем».

Очень благозвучно и слово «Стожары»,— так в этих областях (да и не только в них) народ называет созвездие Ориона.

Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно».

По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы:

— Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя.

Все эти слова — и окоем, и Стожары, и льзя, и глагол «сентябрит» (о первых осенних холодах) — я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым,— от одинокого крестьянина села Солотчи Рязанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года.

Дед Семен был чистейшим образцом русского характера — гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни.

Обо всем он говорил по-своему и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где «мужики кипели до утра» в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят «по квитанции» (по чеку). Это ему казалось диким: «На што она мне, эта квитанция! Я заплатил — значит, давай мне закуску, и все!»

У деда Семена была своя заветная и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу.

Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать «заподлицо» оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было немыслимо.

Как человек озаряет те места, где он живет! Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов.

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово.

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов. В них были собраны все сведения о том или ином море: описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным.

Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так:

«Во время норд-оста берега покрываются густою мрачностью».

Для наших прадедов «мрачность» означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от «розы ветров» и кончая «гремящими сороковыми широтами» (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же как и язык людей многих других профессий.

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег ни разу не выпал, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка «буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мария Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью...»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболь — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболь принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболя почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город,

погруженный в темному, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

— К вам гражданин просится,— сказал Жора.— Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что,— сказал Благов.— Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно,— наверняка разденут. И при вас я пройдусь по рукописи.

— Что значит «пройдусь»? — спросил я.— «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду,— сказал Жора,— что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ,— ответил я.— Для очередного номера.

— Поимейте в виду,— снова сказал Жора,— что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень,— ответил я.— У вас есть сахарин?

— Есть,— ответил Жора.— В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я.— Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал,— ответил я.— Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболь.— Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболь.— Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя.

## КАК БУДТО ПУСТЯКИ

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного литератора — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных, на первый взгляд, обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной творческой плодовитости.

«Осень подходит,— писал Пушкин Плетневу.— Это — любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает».

Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженными ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Баратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его собственным словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гете, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема.

У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом

он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновенья, которое он никогда не старался вызвать насильственно.

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в мещерских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай,— сказал он,— не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Боборыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну,— сказал я,— выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «Пострадал старик, пострадал!» — говорили пассажиры». Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я.— Смотря по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится»! — передразнил он меня.— К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, черт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять ходил у меня под окном.

— Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай,— сказал Гайдар,— раньше я только смутно по-

дозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты знаешь куда! — сказал я.— Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников! — сказал Гайдар, но все-таки ушел.

Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он.— Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье л'экривен рюс советик![1]

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать.

Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он и работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать ее.

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижеры,— наставительно ответил Гайдар,— кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.

— Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал,— сказал я с сомнением.

— На пари! — крикнул Гайдар.— Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи,— помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, выиграл ли Гайдар пари или нет.

---

1 До свидания, господин русский советский писатель!

В общем, я купил, к великой его радости барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать.

Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето».

Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу.

Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу.

Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка.

Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали.

Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить.

Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей.

Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокали от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату.

Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись, посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге.

Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками.

Мне думается, что простота и неустроенность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила,— при любых условиях.

Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем и очень немногие — ночью.

Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, космическая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал.

Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.

Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым.

Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла и воплощения. Проза должна быть, по его мнению, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза.

Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он порой не мог остановиться, правка рукописей делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи, или, как говорил Гоголь, «рисовал, рисовал, да и зарисовался».

Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя.

Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними (по

воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно живо.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни.

В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня (имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной). Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей.

Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и лишил ее рассудка.

Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку.

Через месяц она пошла на панель.

В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила:

— Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак?! Он опозорил вас! Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте!

Девушка прочла рассказ и разрыдалась.

— Немедленно! — сказала громовым голосом настоятельница.— Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь.

Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее.

Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги.

Бальзак хмурился. Ему было некогда — жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны.

Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость.

Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня.

— Какую позорную тень? — спросил он.— Все, что я пишу, всегда святая правда.

Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила:

— Сжальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать.

Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули.

— Как?! — закричал он.— Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами! Совершенно ясно! Какие же могут быть сомнения?

— Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже? — спросила Жанна.

— Да! — закричал Бальзак.— Да, черт возьми!

— И вы хотите, чтобы я...

— Нет, черт возьми! — снова закричал Бальзак.— Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон. Чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь. Чтобы вы научились смеяться. Идите же! Идите! Но не на панель!

Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери.

— У меня ведь все там написано,— говорил он.— Идите! Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял три страницы текста. И какого текста!

Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался «Серебряный вьюк». Она была весела, счастлива и прелестна.

Сколько писателей — столько же и навыков работы.

В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину (об этих письмах я тоже упоминал).

В одном из писем Иордан пишет, что потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след.

«Я уставал,— пишет Иордан.— Но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать стоя за конторкой! Вот уж истинно мученик своего дела».

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта.

Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это, в конце концов, не так уж сильно отражалось на качестве его работы.

Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех.

Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы (не по количеству написанных страниц, а по широте повествования). Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его»,— говорил Достоевский.

Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание,— ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь.

Долги заставляли его торопиться, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по мнению писателя, непоправимо испорчен!

«От бедности,— говорил о себе Достоевский,— я принужден торопиться и писать для дела, следовательно — непременно портить».

Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе и он потом только наспех записывал их без всяких поправок.

Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование.

Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему — накатом. «Если накатит,— говорил он,— то я пишу быстро. Ну, а если не накатит, тогда надо бросать».

Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку.

Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут так же бесследно исчезнуть.

В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и ни старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то «дивного», как сказал бы Гоголь.

Надо успеть записать. Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой.

Французский поэт Беранже писал свои песенки в дешевых кафе. И Эренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в ка-

фе. Это понятно. Потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность.

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка.

Вообще все в лесу — каждый замшелый пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками,— все это может обернуться сказкой.

Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя я добавлю.

Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех до выхода книги работа писателя превращается после ее выхода в общечеловеческое дело.

Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную окололитературную возню и заседания.

Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и, по возможности, отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь, даже отдаленная, неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова.

Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо.

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяжелые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор.

Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех.

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны

были заходить, предчувствие, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ.

И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома, осенью, в одиночестве, под потрескиванье свечи.

Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море, защищала от всяких помех.

Трудно сказать почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый деревенский сад. Я думал о нем, как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчанье ведра и шаги человека.

Но, во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тысячу лет назад,— это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив.

Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.

## СТАРИК В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ

Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки.

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик.— Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова.

Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво.

Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво.

— Пети! — снова позвал старик.— А Пети! Ступай сюда!

Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить мне такой бутерброд».

— Эх, Пети! Пети! — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения.

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей.

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

— Просишь, стерва? — спросил он.— А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

— Что же это вы, гражданин! — сказал молодой человек.— Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

— Ну и отмочил, Валька! — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

— Пети, не смей! — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели.

Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.

— Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик.

Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.

— Еще обижается! — сказал скуластый молодой человек.— Какой независимый, скажи пожалуйста.

— А, брось ты его! На что он тебе сдался? — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.

Старик ничего не ответил. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.

— Один бутерброд! — сказал он хрипло.

Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост.

Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда.

— Один! — сказал старик.

— Берите! — тихо сказала продавщица.— Я на вас не разорюсь...

— Палдиес! — сказал старик.— Спасибо!

Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лиелупа.

Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман.

Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:

— Ах, Пети, Пети! Глупая собака!

Но собачка не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза — они у него слезились от ветра.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если ее передать без одной главной подробности — без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности — неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана, да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее.

В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей.

Но без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка.

Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, стала видной всем.

С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заваливают свои сочинения грудами подробностей — без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление.

Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном.

Или, чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам»:

«Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв и легкие волосы у него на голове поднялись».

«— Покуда спала, к нему пришла смерть...— сказала Даша, плача, Телегину.— Пойми же — у него волосики встали дыбом... Один мучился... Я спала.

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью».

Эта подробность (легкие детские волосы, вставшие дыбом) стоит многих страниц самого точного описания смерти.

Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность — определяющей целое и, кроме того, обязательной.

В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог:

*«Здорово, тетя Паша!* — сказал, входя, Алексей. (Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть *головой*).

— *Здравствуй, Алеша,*— приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея.— Что долго не заходил?

— Да все некогда. Собрания всю неделю проводил.

— *Говоришь, всю неделю?*

— *Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки нету? — спросил Алексей, оглядывая пустую комнату.*

— *Нет. Он на производстве.*

— *Ну, тогда я пошел. До свиданьица, тетя Паша. Бывайте здоровы.*

— *До свидания, Алеша,— ответила тетя Паша.— Будь здоров.*

Алексей *направился к двери, открыл ее* и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой.

— Бойковитый парень. Моторный».

Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгиль-

дяйской манеры писать, из совершенно не обязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности.

В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор.

Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией.

Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.

Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, чувствования людей, их психику, которая по сравнению с нашей, была, конечно, несколько иной.

Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину средневековой Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс — уроженцы этой туманной страны.

Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом — о человеке и его состоянии, о событии, или, наконец, об эпохе.

## БЕЛАЯ НОЧЬ

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой коры. На берегу, должно быть в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы — двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи. Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы — столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.

Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах.

Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами,— тогда это слово впервые появилось в литературе.

Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.

От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнородных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенность материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля и языка.

Я считал, что, как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите. Всенепременно!

На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было значительно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера — белые

ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.

Петрозаводск был в то время тихим и пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной — должно быть, от несильного блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.

В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, своеобычные нравы — все это давало обильный материал для книги.

Прежде всего я набросал ее план. В нем было много истории и описаний, но мало людей.

Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны — совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.

Я начал писать книгу по плану, но, сколько ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.

Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не подкрепленные тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты,— живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.

Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.

(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях,— чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину; хотя бы за «победу», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться, как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)

Ничего нет отвратительнее и тяжелее беспомощности перед материалом.

Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.

А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите».

Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом.

Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.

Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это почувствовала, должно быть, каким-то своим особым учительским чутьем.

— Вы как, бывало, мои дуры гимназистки перед экзаменом,— сказала она мне.— Так забьют себе головы, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетянете себе нервы. А это и вредно и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте. Отдохните. Поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой. Может, что и получится.

Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его как следует и не видел.

Я побрел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились. Потянулись огороды. Среди них то тут, то там виднелись кресты и могильные памятники.

Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты.

— Тут ране кладбище было,— ответил старик.— Вроде, иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды, памятники поубирали. А что осталось, так это ненадолго. До будущей весны постоят, не дольше.

Памятников, правда, было мало — всего пять-шесть. Один из них был обнесен чугунной оградой великолепного тяжелого литья.

Я подошел к нему. На гранитной сломанной колонне виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись.

Я сломал репейник и прочел: «Шарль-Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце».

Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня.

Я вернулся домой, сказал Серафиме Ионовне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив.

Там работал совершенно высохший, даже как будто прозрачный от худобы старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем.

Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг, а сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти все, что касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад.

И старичок и я — мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевиля, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь? Или мы ничего не найдем?

В общем, старичок неожиданно заявил, что не пойдет ночевать домой, а будет рыться в архиве всю ночь. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя. Тогда я отправился в город, купил хлеба, колбасы, чая и сахара, принес все это старичку, чтобы он мог ночью поесть, и ушел.

Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где, по его догадкам, могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевиле. Против наиболее интересных дел он ставил «птички», но называл их, как математик, «радикалами».

Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько странных обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля-Евгения Лонсевиля.

На девятый день были найдены упоминания о Лонсевиле в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратковременном пребывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевиля Марии-Цецилии Тринитэ, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле».

Материалы были исчерпаны. Но и того, что нашел сиявший от этой удачи старичок архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении.

Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Улегся плотно и как бы сам собой вокруг этого артиллериста, участника Французской революции и наполеоновского похода в Россию, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки.

Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиля».

Материал был мертв, пока не появился человек.

Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся вдребезги. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он как магнит притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере.

В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевиля. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть.

Я ехал на пароходе вверх по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири лоцман. Его друзья лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим очень уважаемым в тех местах, своего рода знаменитым человеком.

Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут проходить свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя лоцманов, очень тесно связанных между собой.

Когда мы проходили стремнины — пороги, наш пароход тащили два буксира, несмотря на то что он сам работал полным ходом.

Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке — и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги.

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись. По-моему, каждый плач был импровизацией.

Вот один из плачей:

«Пошто отлетел от нас в смертную сторону, пошто покинул нас, сиротинушек? Нешто мы тебя не привечали, не встречали добрым да ласковым словом? Погляди на Свирь, батюшка, погляди в останний раз,— кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего ж это по всей Свири-реке горят погребальные свечечки?»

Так мы и плыли до Вознесенья под этот плач, не прекращавшийся даже ночью.

А в Вознесенье на пароход взошли суровые люди — лоцманы — и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом.

Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего.

На пароходе приспустили флаг, и, когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков.

И еще одно впечатление отразилось в этой повести. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры.

Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе.

Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. В средних широтах и на юге я как-то никогда не замечал ее. А здесь казалось — она одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заволочьем, над Ладогой и Заонежьем.

## ЖИВОТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО

Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении. Как у него, у Золя.

Бывший при этом Мопассан спросил:

— Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?

Золя промолчал.

Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление. Но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение.

Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы.

Оно было животворящим началом искусства, его, как вы-

ражались восторженные поэты из Латинского квартала, «вечным солнцем и богом».

Но это ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет.

Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал:

— Опять ты меня решил подловить? Черта с два! Все равно не скажу.

Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как делают это в разговорах с детьми взрослые.

Дети спрашивают: «А что это?», «А зачем это?», «А почему это?» Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы.

Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так:

— А что такое воображение?

И если бы мы в этом случае заговорили о «солнце искусства» или его «святая святых», то забрались бы в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника.

Дети требуют ясности. Поэтому мы будем вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение — это свойство человеческой натуры.

— Какое?

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. (Конечно, это надо сказать значительно проще.)

— А для чего? — спросит нас собеседник.— Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в 1814 году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конвенте и слышать речи Марата. Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дает ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни.

Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи, для него непонятные.

Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы.

Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бемби».

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности.

Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это — исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.

Воображение — великий дар природы. Оно заложено в натуре человека.

Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям.

Об этом хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он, не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

Это — из Блока. А другой поэт сказал:

В каждой луже — запах океана.
В каждом камне — веянье пустынь...

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго.

Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилии. Поместье — клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат,— досталось ему в наследство от предков.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык.

Он был уже не молод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей!

Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл.

Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин — сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывала, в собственные длинные волосы.

Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали. Они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам.

Все это окончилось неудачным бунтом. Троих вожаков повесили на рее.

Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этот рассказ.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому гидальго

в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго ее принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, еще более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль.

Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно отчего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли.

Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет.

Он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи лье.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Король был милостив и разрешил ему это. После ухода гидальго он сказал своим приближенным:

— Этот гидальго явный безумец! Чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но бог руководит даже путями безумных. Чего доброго, этот старик присоединит к нашей короне новые земли.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

Грубо вырезанная из дерева мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь, впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в мор-

скую даль. На волосах со стертой позолотой и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги.

— Веди нас! — заклинал ее гидальго.— Не может быть, чтобы этой страны не существовало. Я так ясно вижу ее и наяву и во сне.

Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли.

Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе.

В эту ночь никто на корабле не спал.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты поселило во мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От них у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена.

Гидальго упал лицом на теплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом.

Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемого в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией.

Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон — закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, «закон совоображения», который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или по близости во времени и пространстве — иначе говоря, обобщает — и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения.

Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами.

Есть очень насыщенные минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства.

Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.

Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей «Риторике». Ассоциация, по словам Ломоносова, «есть душевное дарование с одной вещью, уже представленною, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные, например: когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурею — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее».

Это, так сказать, «хрестоматийная» ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее.

Вот, к примеру, одна из них.

Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный: «Руководство для игры в волейбол», хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и «Цусима» Новикова-Прибоя.

— Режиссеру полагается знать все,— сказал Эйзенштейн.— И для всего находить зрительное выражение.

— Даже для алгебраических формул? — спросил я.

— Безусловно! — ответил Эйзенштейн.

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ! А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были, по существу, подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволяющих себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи!»

Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели. Например, Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет,— сказал ему Марк Твен,— если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представ-

ления о том, как это делается? Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан».

Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Геккельбери Финну. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему не ставить памятников литературным героям? Например, Дон-Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимычу или Бэле.

Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации — красный свитер и памятник Бэле,— то весь, вполне естественный, ход ассоциации покажется бредом.

Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве.

Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно — без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии.

Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский:

«Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами».

Приходит ночь, и постепенно оживает сила души,— ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением? Душевным восторгом или спокойствием? Радостью или печалью? Кто знает!

Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак.

Видны черные вершины балтийских сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса... Никого нет около.

Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой темной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во вселенную.

Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной.

Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне, как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне не ясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие — весь мир.

Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега:

— А я вас давно здесь жду. Уже набрала целый сноп цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из «Евгения Онегина». И все вас ждут дома, потому что нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было, потому что и так в лугах такая прелесть и второй раз зацвел шиповник! И вообще хорошо!

А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит.

А может быть, для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше.

Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной.

Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому, что слишком много хочу рассказать и пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что как магнит притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования.

Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты,— сказал Тургенев,— недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где

он говорит, что не знает сам, что будет петь, но «только песня зреет», прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать,— еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют «приближением бога». Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге,— тут-то и начинается мучение».

Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах?

Вчера в рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола.

Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый, тонкий лед.

Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке.

Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу.

Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве.

Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разнится от нашего, мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин — это живые существа, гости из мира, который мы, взрослые и деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением.

Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей.

От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки, в свою скорлупу.

Да, но сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.

И наконец, наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пи-

шешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения.

Сказка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.

## НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС

Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влияния на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы.

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный, город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана.

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия, разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям, это был странный поэт. В нем не бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке-судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен.— Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно,

что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал ею Андерсену, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница проворчал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры не обратили на это внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен.— Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?

Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно,— спросил Андерсен,— ваше преподобие не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец! — сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес,— возразил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый,— ответила дама и лукаво засмеялась,— сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен.— В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится,— сказала дама.— Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо

это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно, совершенно ничтожного, городка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице.— Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы,— сказал возница женщинам,— садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки,— сказала дама.— Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать,— сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте,— кто вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель,— ответил, не задумываясь, Андерсен.— Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я не шар-

латан. И пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в этакой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас,— ответил Андерсен.— Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли,— все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса,— помолчав, спокойно сказал Андерсен.— Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и — даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце,— так же спокойно продолжал Андерсен.— Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы...— смущенно пробормотала Николина.— Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна,— охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник.— Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают

наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама.

— Не далее как сейчас,— ответил Андерсен.— Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь,— сказала дрогнувшим голосом дама.— Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне,— добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария.— Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это в конце концов все равно.

— Сударь,— застенчиво сказала Мария,— я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Найдите его,— воскликнул Андерсен,— и он вас полюбит!

— Мария! — радостно сказала Анна.— Так это же тот молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать,— сказала дама.— Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей,— уверенно ответил Андерсен.— Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех

умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна.— Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт,— ответил Андерсен.— Я молод. У меня густые волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели глаза малютки. Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник.— Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошеные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница.— Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился дальше по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отсвет бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась,— сказала она просто и виновато улыбнулась.— Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь окажется в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении,— уверял он себя,— любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канова,— ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе.

— Я пришел откланяться,— пробормотал Андерсен глухим голосом.— Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы,— глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли.— Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест,— сознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт,— сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену,— бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она.— И пусть бог поэзий простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и про-

пустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

## ДАВНО ЗАДУМАННАЯ КНИГА

Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу.

Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей.

Биографии должны были быть короткие и живописные.

Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей.

В эту книгу я решил вставить и несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался,— людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и знаменитыми. Просто им не повезло и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессребреники и подвижники, охваченные какой-нибудь всепоглощающей страстью.

Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь — человек поистине феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию, как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.

Я познакомился с Олениным-Волгарем в 1924 году в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Оленина-Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой.

Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала, вся в звоне труб и пороховом дыму, «Марсельеза».

После скитаний по Европе Оленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород.

Он первый на свой страх и риск провел через узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно.

Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от одного вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.

Оленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках.

В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте.

Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле».

И еще был у меня один простой и милый знакомый — директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России.

Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу.

Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея — тихой уличке, заросшей муравой,— и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг. Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор.

Каждая вещь в музее — от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота,— была изучена и тщательно описана.

Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре.

Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна,— белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого озера.

Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, никому не надоедал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю?

Недавно я нашел список замечательных людей, который составлял для этой книги. Он очень велик. Вряд ли стоит приводить его полностью. Выберу из него наугад только несколько писательских имен.

Рядом с каждым именем я делал короткие заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем.

Приведу здесь некоторые из этих записей. Я упорядочил их и несколько расширил.

## ЧЕХОВ

У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой: все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие,— и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно только написав целую книгу, если не две, а то и все три.

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в ялтинском Доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то, что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции — все предлагала нам сама жизнь.

Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда рассчитывал, что сохраню их, но тотчас же терял.

Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду...», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговины Флор».

Но несколько коробок у меня все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи.

Я обещал одной газете написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпáлись от каждого веяния или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее,— снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал это Чехов:

5*

— Р-р-р... нга-нга-нга! Р-р-р... нга-нга-нга!

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же постарался отогнать эти мысли, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло сорок шесть лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на порхание легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя нарочитыми мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не было, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

После этого я много раз навещал чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.

Я разобрал еще одну запись: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала кромка лег-

кого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревожившийся только наедине с собой, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать.

В огромной мемуарной литературе о Чехове почти нет упоминаний о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Но все же его слезы видел, например, писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовым на Урал. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои, и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству — чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну запись: «России всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, пустынны. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце оттого, что он тратил время здесь, в Крыму, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно было быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом уютном доме.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Очевидно, гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляли людей проверять по ней свою собственную жизнь.

Запись «Цепь фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать сразу много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, сделанной перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного обывателя и пустого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Две последние записи очень коротки, только по одному слову. Первая запись — «гений», а вторая — «доброта».

Но ничего неясного в этих записях для меня нет.

Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромен, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записи «доброта» можно сказать очень много.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с бо́льшим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в 11 часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах»,— вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает одного из важнейших качеств — силы воздействия на душу читателя.

Вот расшифровка записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я смог поделиться своими мыслями о Чехове, обаятельном человеке и замечательном писателе.

Самое его существование напоминает нам о возможности и достижимости подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

## АЛЕКСАНДР БЛОК

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный (по выражению Блока) звон» пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем труднее верится в самый факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих мифов. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимейших полулегендарных, а то и вовсе легендарных людей, таких, как Орланд, Петрарка, Абеляр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор не понятый Лермонтов — мальчик, успевший сказать во время своей жизни о жаре души, растраченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его исступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, прочно существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад прочитанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать».

Среди «бренных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока-человека мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее часто жестокие законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовой и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен отступать от подлинных событий. Но в главном я более или менее придерживаюсь этих событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот про эту-то вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что думаю, с той великой признательностью и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всем, что было связано с Блоком,— людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение, и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью и радостью просто от того, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мглистый, с кружащейся опадающей листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так вот, это был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестели стекла особняков, израненных во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, наносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой именно этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же, у берега пустынной в этом месте Невы, какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались стапели судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот мы и пришли,— сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, все набегали и маленькими каплями скатывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благородную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда останется юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранил внешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание, даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно воздействовал на многих поэтов и писателей. Воздействовал не только стихами, но и обстоятельствами своей жизни. Я приведу здесь один, может быть, не очень характерный, но пришедший мне на память пример.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще неопубликованный роман «Недотрога». Обстановка и многие детали этого романа совпадают с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Абервраке.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было сказочно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще один характерный отрывок из письма: «Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного легиона».

«Я думаю,— замечает Блок,— русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало его за полной старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в 25 000 франков.

В этом форте все было романтично: и полуразрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Родные отговорили Блока от покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым о старом форте,— мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает заброшенные валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан сам форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтический. Прекрасно также описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что некоторые стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных с этими стихами общностью настроения.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень постигаю пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества; мне чуждо его ощущение рокового одиночества, безвыходные сомнения и катастрофические падения, слишком усложненное восприятие им революции.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его зрелых стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишенные живых образов, живой крови, бесплотные — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна, например, его любовь к нищей России. Как можно было, с точки зрения нынешней молодежи, любить ту страну, где «низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что такой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю и за дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитанья, запах золы, бурьяна и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие предшественники Блока. Но эта Русь умирала. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Новая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в южных степях.

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома и старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чудь начудила и меря намерила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, угорать от их томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресторане», поэтическое мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется непостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви только крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искушенные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, согласованное с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего сколько-нибудь удачного определения.

Достаточно прочесть одну всем известную строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые временны́е расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я стремился следовать этому совету Блока. И я ему глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излучении его гения, и оно дойдет, быть может, только более ясным до будущих поколений нашей страны.

## ГИ ДЕ МОПАССАН

Он таил от нас свою жизнь.
*Ренар о Мопассане*

У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде».

На «Милом друге» у Мопассана служило двое матросов. Старшего звали Бернар.

Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с «хозяином» в последнее время творится что-то неладное и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей.

Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чуткое и стыдливое сердце.

Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие, равнодушные руки.

И матросы старались. Они оттягивали ее продажу, сколько могли. А они были бедные люди, и один лишь бог знает, как это было им трудно.

Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бартелеми.

Когда Бернар умирал, он сказал окружающим:

— Думаю, что я был неплохой моряк.

Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова.

Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан.

Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор,— говорил он,— и выйду из нее, как молния».

Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь «клиникой для писателей», незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви-страдания и любви-радости.

Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни.

Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя?

Он понимал, что этого он не сделал и что если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра.

Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил, наконец, в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления.

И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Большего он не хотел.

Но что Башкирцева! Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик.

Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непро-

шено врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове! Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг.

Работница! Наивная, прелестная девушка! Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца — такого же чистого, как и ее сияющие глаза.

Наивная девушка! Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться.

Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном.

Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц.

Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и наконец прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем.

Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета.

Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды.

Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и в тот же вечер назло себе, назло Мопассану отдалась этому жуиру.

Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся: история с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа.

Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоуха-

ющая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце!

Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать.

Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолять о прощении, он, недоступный, великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.

Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для него! Они благословенны, эти чувства! Они — святая святых нашего несовершенного мира! И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми большими горстями.

## ИВАН БУНИН

> Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен.
>
> *И. Бунин*

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовами — с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своеи пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда

отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные избитые подковами белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город... гордился своей древностью и имел на то право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали; пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто

бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах, шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь «это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

* * *

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же, как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух...» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «Воздушный корабль» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами понятие современности, не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть — не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин,— многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки. И на их фоне — вся Русь! Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, побирушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети.

В толпе — Лев Толстой, а невдалеке от него — Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения,— счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков»,— записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки.

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон...»

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы, цветы на картине Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинной галереи равномерный ветер с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве,— и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте, о Палестине.

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни.

Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только — видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит — «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу кругообразных, непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа.

Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке,

обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть,— ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях — от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но, в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки благо-

словенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безыменной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего... поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле,— а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов — только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то всё поля, поля, беспредельный океан хлебов... Это... Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом,— так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов,— «лепка людей». У немногих писателей такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок... был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивал и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все

то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...».

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой печальной красотой, нашел наконец своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то бесприютно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи села Становая, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему «верх», и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему... И не раз испытывал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой... Все представлялось: глядь, а они и вот они — не спеша идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострецам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка на минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны,— первобытно подвержен русский человек природным влияниям! — и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью...

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми

дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев...».

Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепелов», и дыхание спящей любимой девушки,— «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на свете».

* * *

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству.

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

## МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки.

Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует «чувство Горького», ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни.

Для меня в Горьком — вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так я не могу подумать, что в ней нет Горького.

Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех «разрезах» — и в пространстве и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране и что бы он не увидел по-своему, по-горьковски.

Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление.

При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду — на весь облик человека.

Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно.

Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тессели.

Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный, упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами.

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. Поднебесный тополь, сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево.

Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орга́н.

Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь.

За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда, около тополя. Горький не удивился и ответил:

— Ну, раз вы за мной подглядели, то так и быть, сознаюсь. Я сказал — какое могущество!

Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день, весь в кудрявых, легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой-рекой. По комнатам дуло теплым ветром.

Горький говорил со мной о моей последней повести — «Колхиде» — так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур.

Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет,— выпуклым, сочным языком.

Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи».

Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего пятьсот экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге.

В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива, и даже на Шпицбергене, росли магнолиевые и кипарисовые леса.

Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета — для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет

неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен и в природе наступил золотой век.

Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об этом можно было бы, пожалуй, подумать.

Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью.

Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу.

Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел — он вскоре умер.

## ВИКТОР ГЮГО

На острове Джерсее в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник.

Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в двадцать или тридцать сантиметров. Он весь зарос травой. Поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле.

Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развевается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жиллиат из «Тружеников моря».

Вокруг, насколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры.

Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея.

В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове.

У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнято и торжественно выраженных.

Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавр, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир.

Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля. И содрогались слабые человеческие сердца.

Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью.

Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружью, граждане!»

Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды.

Этот ветер называется Романтикой.

Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты.

Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал пять раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова.

Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Козетту и Гавроша друзьями детства.

Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. С годами это чувство все крепчало.

К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Доде, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и Беранже.

Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки — и пышные и простые.

Вы увидите сказочный город,
О котором молились века,
И душа позабудет укоры,
И усталая дрогнет рука.

В Люксембургском саду у фонтана
Вы пройдете по дальней меже
Под широкой листвою платанов,
Как Мими из романа Мюрже...

Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город.

## МАЛЕНЬКАЯ РОЗА В ПЕТЛИЦЕ

### (ЮРИЙ ОЛЕША)

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас.

Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубахе.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос! — рассердился старик.— В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров,— слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик.— Платить абсолютно некому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик.— А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич,— говорит он,— поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей.

Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот,— сказал Олеша и кивнул на палку и котомку,— когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы, выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую — за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша.— Самая безопасная комната в гостинице.

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых лю-

6*

дей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых куртках, приятели Олеши, бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столом с печальным молчаливым негром — актером Одесской киностудии.

— Только что был налет,— сказал Олеша.— Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я сказал что город изменился с начала войны, замер, и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно.— Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, и о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот,— сказал Олеша,— все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. Тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик: «Деньги на бочку?», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Против нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтраубъ».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша.— Это звучит, как «Еще до рождества Христова» или «Еще до всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опьять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор: Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите,— сказал Олеша,— я был прав. Вот она — старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло,— ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета Скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.

Над морем полосами тянулся дым. На Пересыпи где-то горело. А может быть, там за лиманами всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

## МИХАИЛ ПРИШВИН

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина.

Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома — в избах

объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба,— звали его просто «Михалычем». И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему об его «журавлиной родине».

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром,— всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой.

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя — те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий!

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений.

Чем это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца,— очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее видна прелесть родной земли, острее делается взгляд и собраннее мысль.

Простота говорит сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск,— богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

О Пришвине писать трудно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором

ключей и благоуханием трав,— погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами,— это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину, очарование.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли, «матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание.

Все сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» — совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И «лег мороз», и «деревья обдались сильной росой» — все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем

этого народа со стороны в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями.

У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд.

Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять.

Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию.

Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом, и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион.

Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью.

Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета «У-2», который прилетает в луга опылять от комарья мочажины и болотца.

Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. Да я, признаться, и не задумывался над этим.

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел объяснение этому всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел — Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране.

Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны — со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей историей.

У нас были и есть ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мензбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений.

И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы,— Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие.

Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и, уж конечно, прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-«волчках» из Марьиной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой-подпаском о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

«— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал.

— Не все,— ответил я,— но есть немного.

— Вот я бы — так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот так! Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалейку и стал просверливать в ней дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я.— Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил,— ответил он,— все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, «коротко»! — удивился подпасок.— Всю-то ночь напролет: свись, свись, свись...

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо,— ответил он».

В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «...Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой,— и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе».

Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.

## АЛЕКСАНДР ГРИН

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книги в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Доде или «Мистерии» Гамсуна, а за

двадцать копеек — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон-Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Разноязычный этот город напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди нескольких намеков на улицы. Улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе, потому что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и узенькими тропинками.

Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом. Пение вдали и его эхо в оврагах. Рынки на сваях под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань — грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана. Ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс!»

Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина.

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!

Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени писателей, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

## ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя, или, как говорят, «узнать, почем фунт лиха», потому что биографию Багрицкого установить трудно.

Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, «одну только правду и ничего, кроме правды».

К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них.

Без них нельзя себе представить этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом.

На побережье Эгейского моря живет живописное племя «левантийцев» — веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов — греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев.

И у нас в Советском Союзе есть свои «левантийцы». Это «черноморцы» — тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в «Одессу-маму», в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни.

К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля.

Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в одесском порту. Он только что написал «Поэму об арбузе» — удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной.

Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену.

Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев «Поэму об арбузе».

Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем — очевидно, с погибшей шхуны.

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая, певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковская «Донна Анна» или пушкинское «Для берегов отчизны дальной...» — что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения.

Из порта мы пошли на Греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу. С раннего утра мы не ели.

В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!»

Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей.

Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, «сойти на нет» перед этим нищим.

— Где ваша совесть, люди вы или не люди?! — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: — Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!

Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.

В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны.

В это время вошел нищий и уже с порога закричал проклятья.

— Ага! — зловеще сказал Багрицкий.—Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти!

— Что же тогда будет? — спросил я.

— Худо ему будет,— ответил Багрицкий.— Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику.

Нищий надвигался неумолимо, . Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле,— может быть, это была на-

столько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал:

— Когда наконец у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее,— я не говорю половину,— несчастному старику.

Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика,— говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой...

Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора и погибнет Ваал» — повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.

— Вот видите,— сказал Багрицкий серьезно,— даже одесские нищие не выдерживают Надсона!

Вся чайная гремела от хохота.

Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц.

В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы.

Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян.

На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги.

Одесские газеты платили ему гроши: по пять — десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь.

Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил один в издательства и редакции, а брал с собой «для храбрости» кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался.

В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.

Он был обложен книгами, чужими рукописями стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.

Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на

подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб.

Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома — так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками сжимая морскую воду.

Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии.

За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась «Дума про Опанаса», конь Котовского, что «сверкает белым рафинадом», широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия — наследница «Слова о полку Игореве» и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер «левант» над родным Черноморьем.

## ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР

Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети.

*Александр Блок*

Человек останавливается, пораженный, перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни: перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба.

*Джон Рескин*

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается

в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Она наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Все это добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не дал им ни одной живой черты.

И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.

Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынул снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых — ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. А предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И они умеют помнить увиденное.

Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне:

— Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

— Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь.— Такой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охватило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного ушло, и его уже не воскресишь!

Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был нагляднее.

Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала — через Калязин и Хвойную.

Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям.

Моим попутчиком оказался маленький, мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник.

Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель-лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень.

— А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин? — спросил я.

— Там у меня облюбовано одно место,— доверительно ответил художник.— Всем местам место! Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес! Кое-где только попадаются редкие

ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива, за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого инея не видел.

Я сказал, конечно шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать.

— А что же вы думаете! — серьезно ответил художник.— Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше.

— Почему?

— Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет. Но знаете,— добавил он с тревогой,— что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек!

Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня.

— Вы уж не сердитесь на меня,— говорил он смущенно,— но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина — гроза в сентябре. Поглядите!

Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая, вполнеба, туча. Ее передергивало вспышками молний.

— Мать честная! — воскликнул художник.— Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан.

— Какое освещение? — спросил я растерянно.

— Господи! — с отчаянием сказал художник.— Куда же вы смотрите? Вон видите — там лес совершенно темный, глухой; это на нем легла тень от тучи. А вон подальше, на нем бледные желтые и зеленоватые пятна: это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе, на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно — легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние, я бы сказал — такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать.

Художник посмотрел на меня и засмеялся.

— Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов! Все купе как в зареве. И, в частности, ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно.

— В этом и дело художников,— сказал я,— чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи.

— Стараемся,— ответил художник.— Если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь как лес пышет то светом, то темнотой!

Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях.

Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок.

— А небо, небо какое! — закричал художник.— Смотрите! Что оно только творит!

Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем.

Пронзительный блеск молний сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя.

— Каково! — кричал возбужденный художник.— Такую чертовщину не часто увидишь!

Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света.

Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко, у самого горизонта, сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса.

— Вы что-нибудь запомнили? — спросил художник.

— Кое-что.

— И я только кое-что,— с огорчением сказал он.— Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя — другой, а после дождя — совершенно особый. Потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск. Серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой,— наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю.

Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело дышал паровоз.

Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе.

Сейчас особенно обидным показалось мне то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и многие, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только неотложными делами.

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце.

Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше.

Французский художник Монэ приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Монэ в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Монэ готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.

Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Монэ был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Монэ вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый.

Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома.

Но как бы там ни было, Монэ победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Монэ даже прозвали «создателем лондонского тумана».

Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского ненастья после картины Левитана «Над вечным покоем».

До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое движение туч. Наконец, за то, что во время ненастья начинаешь ценить простые земные блага — теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, застланную грубым рядном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту.

Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности.

Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галерее.

Помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы.

В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах — совершенство духа и власть гения, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов.

При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им.

Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении.

Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости.

Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него — значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от «Сикстинской мадонны» Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван-Гог или Гоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян?

Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может

появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей русской культуры плеяду блистательных художников?

После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий.

Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать их архитектурную тайну. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были не велики. Одна из самых замечательных построек — здание Главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы.

Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов.

Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры.

Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия,— все это имеет некоторое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений — так называемого орнаментального стиля.

Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего нельзя было выбросить и ничего прибавить без того, чтобы не нарушился смысл повествования и закономерное течение событий.

Как всегда в Ленинграде, больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош.

Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и, чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура.

Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских ваятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать

над сердцами и социальный строй — тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения,— будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела.

Наша дорога — в золотой век. Он наступит. Досадно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца.

Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал.

О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце.

В этом — сила скульптуры, та сила, без внутреннего огня которой немыслимо передовое искусство, особенно искусство нашей страны. А тем самым немыслима и полновесная проза.

Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы.

Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы.

У подлинной прозы всегда есть свой ритм.

Прежде всего ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что «беллетристика должна укладываться (в сознании читателя) сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы.

Вообще писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в овладении читателем, в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором, и заключается задача писателя и действенность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.

Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!

Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главное не в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенства, является, по существу, подлинной поэзией.

Чехов считал, что лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом.

«Где граница между прозой и поэзией,— писал Лев Толстой,— я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем «Дневнике молодости»:

«Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одной и потом пуститься на произвол другой? В мечте есть сторона, которая выше действительности. В действительности есть сторона, которая выше мечты. Полное счастье было бы соединением того и другого».

В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль: самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью.

В этом случае я не боюсь слова «пленительный» (иными словами — «берущий в плен»). Потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой, возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, «венцом творения».

Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда он сказал, что «поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым».

## В КУЗОВЕ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы-на-Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем.

Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Всё вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью.

Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге была горячая и пахла резиной. За Днестром гремела канонада.

В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали: «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие «мессеры».

Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. «Мессеры» исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и жажда.

После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня:

— Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?

— Вспоминаю,— ответил я.

— И я вспоминаю,— сказал, помолчав, водитель.— Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину — буду проситься в лесники. Возьму с собой жену — она у меня спокойная, красивая — и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои. А водителям это не положено.

— Я тоже,— ответил я.— Вспоминаю свои леса.

— А ваши хороши? — спросил водитель.

— Хороши.

Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали.

Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно,

вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Требутино». И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов.

Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце.

В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут «Ваня мокрый». Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха.

Возле колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок, или, по-местному, в «прожог». В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепеке и пылает своим оперением, как груда рдеющих углей.

За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов.

За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы.

Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников-иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках. А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком.

За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога.

Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту.

Есть хорошее русское слово «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше опре-

делить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда.

Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова:

> ...Быть вольным, одиноким,
> В торжественной тиши раскинутых полей
> Идти своим путем, бесцельным и широким,
> Без будущих и прошлых дней.
> Срывать цветы, мгновенные, как маки,
> Впивать лучи, как первую любовь,
> Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,
> Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!

В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо.

Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль.

Лес на холмах светлый. В нем далеко видно. Он залит солнцем.

Лес этот тянется неширокой полосой (километра на два, не больше), а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор.

Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется потому, что широко видно все небо.

Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы.

Все, что я мысленно представил сейчас,— только преддверие настоящих лесов. В них входишь, как в огромный, полный тени, громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ряской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье — это пасутся в подводной траве караси.

Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени.

(Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой машины. Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы — там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад — они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу

за ней и прислушиваюсь: когда же она взорвется? Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов! Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнущая не бензиновым чадом и пороховыми газами,— может быть, следует говорить «взрывными» газами,— а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника.)

За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой и жаркий лес, йодистый воздух этих низин.

На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему ни прикоснешься,— сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шершавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые.

Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи.

Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета.

Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях. А на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли.

Я сверяюсь по самодельной карте — до Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы — сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней, сосна с вырезанной на коре буквой «О» — озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять.

Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему на ней янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет.

Ближе к озеру начинаются среди леса глухие, глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться в глубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера.

Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И наконец, последняя примета — ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней — крутой обрыв.

Лес кончается. Внизу высохшие болота — мшары, поросшие мелким лесом: березняком, осинами и ольхой.

Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка.

Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар, скрывается Черное озеро — государство темных вод, коряг и огромных желтых кувшинок.

Идти по мшарам надо осторожно: в глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок — колки. О них можно жестоко поранить ноги.

В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр,— глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки.

Берег озера немного выше и потому суше мшар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте — след обязательно нальется водой.

К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг — слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев,— все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею.

Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой...

Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли.

Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый, звук в общее звучание музыки.

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с ней и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.

Пейзаж — не довесок к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых

от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

Проще говоря — природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой.

## НАПУТСТВИЕ САМОМУ СЕБЕ

На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, народности, литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь.

Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог.

*1955*



# Рассказы

# ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом. Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы.— Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей.— Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы изводили нас все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед, по прозвищу «Десять про́центов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца.— Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась,— шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет,— пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед.— Надо думать, к вечеру ха-а-роший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит,— объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием.— Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в этой лягве! Я во время германской войны во Франции был, там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я.— Есть можно?

— Скусная пища,— ответил дед, прищурился, подумал.— Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я, милок, из лыка цельную тройку сплел — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет стольких самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и волдырях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень,— ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило не могло ее пробить.

Перед грозой рыба тоже переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты вполнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл,— так клюет только очень крупная рыба...

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит,— сказал я.— Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять прóцентов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы кричали нам ласково:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

*1936*

## ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРТ

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу; порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять про́центов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок,— объяснил однажды дед,— что во мне всего десять про́центов прежней силы осталось.

Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят во двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более как десять про́центов». Теперь так и перебиваюсь на эти про́центы. Вот она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково, скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица,— сказал он нерешительно.— Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно,— сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть,— ответил я,— хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять про́центов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудодня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет,— говорил, сморкаясь, дед.— Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь,— отвечал загадочно дед.— Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен,— высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги — играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама,— дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника.— Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное,— погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман. Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед.— Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то.— Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица-троеручица! — бормотал, запинаясь, дед.— Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну,— сказал дед,— действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю! Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй,— бормотал он сердито.— Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно,— она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову, величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете — в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

> **«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».**

— Ну,— спросил я,— что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец,— ответил Рувим.— И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший,— сказал Рувим.— Гляди!

— И-и-и, милай...— Дед захихикал.— Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто стараясь что-то припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинув клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос. От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испугался дед.— Чумовой, что ли?

— Рыбы просит,— объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой — клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед.— Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт,— говорил он и оттягивал штанину.— Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня наша, милок!

*1936*

## КОТ ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; в нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить кота из-под дома.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые рассмотрели его как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий

случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет,— сказал Ленька.— У него с детства характер такой. Лучше попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный «Горлачом».

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

*1936*

## ЖЕЛТЫЙ СВЕТ

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок.

Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее почти не замечал: в саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше.

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки.

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним.

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена.

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо: беспокойные птицы улетали на юг.

Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей.

Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени. До тех пор я эту сказку никогда не слышал,— должно быть, Прохор ее выдумал сам.

— Ты гляди кругом,— говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть,— ты присматривайся, милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. Гляди, объясняй. А то скажут: зря учился. К примеру, лист осенью слетает, а людям невдомек, что человек в этом деле — главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох. Враг его разорви вместе с тем порохом! Сам я тоже порохом баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом и увидел, как иволги летят под небесами, летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали. А иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. Небось видел в лесу — есть лист желтый и есть лист красный. До того времени вся птица зимовала у нас. Даже журавль и тот никуда не подавался. А леса и лето и зиму стояли в листьях, цветах и грибах. И снега не было. Не было зимы, говорю. Не было! Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! Какой с нее интерес? Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. Начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. И птица испугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего не портить, а крепко беречь.

— Что беречь?

— Ну, скажем, птицу разную. Или лес. Или воду, чтобы прозрачность в ней была. Все, брат, береги, а то будешь землей швыряться и дошвыряешься до погибели.

Я изучал осень упорно и долго. Для того чтобы увидеть по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых московских крышах.

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба.

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. Эхо от ударов топора, далекое ауканье баб и ветер от крыльев пролетевшей птицы стряхивали эту листву. Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках.

Однажды осенью я ехал на лодке по Прорве. Был полдень. Низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду и отражался от нее. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно бежали по берегам, поднимаясь от воды и потухая в вершинах деревьев. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников, и на одно мгновенье берега вспыхивали сотнями красок, будто солнечный луч ударял в россыпи разноцветной руды. Свет открывал то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и красные спинки божьих коровок.

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем, и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы.

Была как раз такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа — неясный звук, похожий на детский шепот.

Ночь стояла над притихшей землей. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе.

Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь, дрожали в воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в Старице и Прорве.

К рассвету загорался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив. Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн поднимался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком.

Звездная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте тростников, в терпком запахе осенней воды.

В конце осени я встретил на Прорве Прохора. Седой и косматый, облепленный рыбьей чешуей, он сидел под кустами тальника и удил окуней. На взгляд Прохору было лет сто, не меньше. Он улыбнулся беззубым ртом, вытащил из кошелки толстого очумелого окуня и похлопал его по жирному боку — похвастался добычей.

До вечера мы удили вместе, жевали черствый хлеб и вполголоса разговаривали о недавнем лесном пожаре.

Он начался около деревушки Лопухи, на поляне, где косари забыли костер. Дул суховей. Огонь быстро погнало на север. Он двигался со скоростью двадцати километров в час. Он гудел, как сотни самолетов, идущих бреющим полетом над землей.

В небе, затянутом дымом, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала глаза. Падал медленный дождь из золы. Он покрывал серым налетом речную воду. Иногда с неба слетали березовые листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в пыль от малейшего прикосновения.

По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке, по дворам тоскливо мычали коровы, ржали лошади, и на горизонте вспыхивали белые сигнальные ракеты — это красноармейские части, гасившие пожар, предупреждали друг друга о приближении огня.

Возвращались мы с Прорвы к вечеру. Солнце садилось за Окой. Между нами и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Это солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга.

Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега Прорвы на другой и медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутиной и росами ивы стояли под солнцем, как сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран.

На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нес его над землей. Он пролетал на паутине десятки километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей.

Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешивался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы богатые запасы — забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра.

Глубокой ночью я проснулся. Кричали вторые петухи, неподвижные звезды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над садом, терпеливо дожидаясь рассвета.

*1936*

## СТЕКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Бабка Ганя жила на околице, в маленькой избе. Ганя была одинокая. Единственный ее внук Вася работал в Гусь-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок граненые синие стаканы, а для украшения — маленькие, выдутые из стекла самовары, туфельки и цветы. Выдувал их он сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце. Бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости. Она позволяла им смотреть на эти волшебные вещи, но в руки ничего не давала.

— Вещь эта хрупкая, как ледок,— говорила она.— Не ровен час — сломаете. Руки у вас корявые. Картуз держать не умеете, а тоже пристаете: «Дай подержать да дай потрогать». Их держать надо слабо-слабо, как воробышка. А нешто вы так можете? А раз не можете — так глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавом носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались легким блеском. Когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они звенели долго и тонко, будто разговаривали между собой о чем-то своем — стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил рыжий пес, по имени Жек. Это был старый, беззубый пес. Весь день он лежал под печкой и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком — посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных разностях, пожаловаться на старость.

— Я совсем слаба стала, ничего почитай и не ем,— говорила она.— Воробей и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать бумагу в сельский Совет. Она диктовала ее сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, трудно.

— Пиши, сердешный,— сказала она.— Пиши в точности, как я скажу: «Я, Агафья Семеновна Ветрова, жительница села Окоемова, сообщаю сельскому Совету, что в случае моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а этого для человека мало. Он обязан знать еще и какое ни на есть мастерство.

Внук мой — такой мастер, что только землю и небо не сделает, а все прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой — не женатый, не пьющий. Боязно мне, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу нашу власть не оставить его заботой, чтобы дар, даденный ему с малолетства, не пропал, а большал и большал. А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжелого стекла некоторую вещь,— называется она по-городскому рояль, а у нас в селе ее сроду не видывали и не слыхали. Это самое мечтание он изложил мне, и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. А собаку Жека пусть заберет аптекарь, Иван Егорыч, он к зверям ласковый.

Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола и вздыхал — чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула в ситцевый платок, поклонилась низко, по-стариковски, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем — художником — уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над головой и хрустели — на них лежал тяжелый иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось прикасаться — топор, котелок, ветки,— было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии зарослей подымалось солнце, и мы не узнавали Прорвы — все было присыпано морозной пылью.

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной. Белые, будто засахаренные ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез теряли серебряный налет и шелестели под ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вышел дед Пахом. Он собирал в мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю,— все-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

— Здоро́во! — сказал дед.— Никак я в толк не возьму, чего вы тут делаете, милые. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай. За чаем дед завел трудный разговор о витаминах.

— Одышка у меня,— сказал дед.— Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, выдумываешь невесть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

— Чего? — спросил я.

— Ну, тмины там какие-то советует потреблять. Настой из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей-богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу — она у нас сплоховала.

— А что?

— Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую поневу надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу, помирать еще ни к чему. Вы от меня, голубчики, еще наслушаетесь разного разговора. Жалеть не будете!

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидал на своем веку много болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

— Раз родились,— говорил он,— все одно помрем.

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто: все ушли на огороды копать картошку.

На крыльце Ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лег на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу — ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду. Я впервые уви-

дел белый рязанский шушун, новенький черный платок с белыми цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую поневу.

Дед наступил на шаткую половицу, и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

— Вечный спокой,— сказал дед и стащил с головы рваный картуз.— Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха, строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая картузом лицо:

— Ты чего же недоглядел хозяйку, дьявол косматый!

Жек опустил голову и робко помахивал хвостом. Он не понимал, за что на него сердятся.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на ее могилу и рассыпали по ней накрошенный хлеб — для воробьев и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай — кормить птиц на могилах, чтобы на стареньком кладбище было весело от птичьего щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика, болезненный,— «квелый», как говорили по деревне,— но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало, больше слушал и улыбался.

Я долго не решался расспросить его о стеклянном рояле. Заветная его мечта казалась неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали березовые дрова, я наконец спросил его об этом рояле.

— У каждого мастера,— ответил Вася и застенчиво улыбнулся,— лежит на душе мечтанье сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер!

Вася помолчал.

— Разное есть стекло,— сказал он.— Есть грубое, бутылочное и оконное. А есть тонкое, свинцовое стекло. По-нашему оно называется флинтглясс, а по-вашему — хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Он играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно — очень он был ломкий, требовал осторожного обращения, а теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

— Прозрачный? — спросил я.

— Об этом-то и разговор,— ответил Вася.— Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нем сложное. Но, несмотря на то что рояль прозрачный, это устройство только чуть будет видно.

— Почему?

— А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра

его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатления, ежели видит, как она происходит. Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотизной. Только вторые клавиши сделаю из черного хрусталя, а так весь рояль будет как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня нет воображения рассказать вам, какой это должен быть звон.

С тех пор до самого Васиного отъезда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Дни стояли пасмурные, мягкие. В сумерки мы выходили в сад. На снег падали последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой,— сверкающий, поющий так чисто, как поет вода, позванивая по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот рояль. Он отражал пламя свечей, старинные портреты композиторов, тяжелые золотые рамы, снег за окнами, серого кота,— он любил сидеть на крышке рояля,— и, наконец, черное платье молодой певицы и ее опущенную руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

> Когда поля в час утренний молчали,
> Свирели звук, унылый и простой,
> Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то чудесное стеснение в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Все гуще падал снег, засыпáл могилу бабки Гани. И все сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась мне теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

*1939*

## РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ

Судьба одного наполеоновского маршала — не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов,— заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был еще молод. Легкая седина и шрам на щеке придавали особую привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потертый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала, стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к «большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи.

Буковые леса простирались вокруг, и одни только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошел пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошел к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс,— ответил незнакомец.— Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас,— ответил музыкант,— но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо ее проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо...— ответил маршал,— хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина,— сказал маршал.— Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет,— ответил Баумвейс и перестал играть,— я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и именитых людей.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот,— Баумвейс встал,— за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы? — спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живет лесничий,— ответил Баумвейс.— В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапера Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь,— сказал он,— мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно,— ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он удивлен словами маршала.

— Но,— сказал маршал,— никому ни слова об этом. Я выйду через черное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно,— повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

— В зиму! — сказал он самому себе.— К черту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Черный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замерз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель,— сказал возница.— Веселая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошел, сбросив плащ, в низкую комнату, освещенную свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня,— сказал маршал и слегка покраснел.— Простите за непрошеное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да,— ответил, смешавшись, маршал,— это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущенная и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шепот недоумения пробежал среди гостей.

Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были ее современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о ее легкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны ее любви.

Что было дальше? Маршал провел в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнаженная рука на жестком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем ее любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами, в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Все вокруг осталось по-прежнему. Все так же шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах

темную листву. Все так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя и старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапера.

*1939*

# МЕЩОРСКАЯ СТОРОНА

## ОБЫКНОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся ко-

ровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещорском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещорского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещорские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

## ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Впервые я попал в Мещорский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами

выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещорских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти,— сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели,— надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот,— сказал дед горестно,— за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озеро. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно существование наше,— повторял дед.— Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещорой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

## СТАРИННАЯ КАРТА

С большим трудом я достал карту Мещорского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек,— кричит местный житель,— других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИМЕТАХ

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета—это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это всё очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАРТЕ

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещорского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещорского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещорские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещорского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

## МШАРЫ

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещорские болота — «мшары» или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником,— бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой,— рассказывали бабы,— так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещорском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукуш-

киным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой,— сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот

дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело,— и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услыщали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро,— ответил он.— Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещорские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины,— говорили они нараспев.— Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

## ЛЕСНЫЕ РЕКИ И КАНАЛЫ

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки

только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещоры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек в Мещорском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещору была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещоре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную

рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещоры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещоры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещоры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

## ЛЕСА

Мещора — остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещорском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру,— на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы,

земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду,— ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бро-

сили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещорских челнах. Они похожи на полинезийские пиро́ги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

## ЛУГА

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег,— травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подклады-

ваю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив... И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное,— все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, по-

ставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

## НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволнованно. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

## ЕЩЕ О ЛУГАХ

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями

вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

## СТАРИКИ

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожди» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё,— сказал Степан.— Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед.— Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои,— сказал дед, закуривая,— бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед матерью божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех,— пробормотал смущенно дед.— Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое,— сказал он, сокрушаясь.— Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюла — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся,— сказал дед.— У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке,— дед постучал корявым пальцем по лбу.— Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы

свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорят — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу, схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч,— сказал он из шалаша.— Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

## РОДИНА ТАЛАНТОВ

На краю Мещорских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел

в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется,— сказала она ласково,— так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой,— вздохнула бабка и вытерла рот концом платка.— Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает,— говорит Кузьма.— Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке,—осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной,— сказал он мне,— подарю комунибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня,— учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы,— и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника

на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещору. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте,— писал Вася.— Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому что уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь *Вася Зотов*».

## МОЙ ДОМ

Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из

бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

## БЕСКОРЫСТИЕ

Можно еще много написать о Мещорском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было,— этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

*1939*

## ПОДАРОК

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам,— сказал он и покраснел.— Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета,— ответил Ваня.— Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава,— проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею,— сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у еще нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпáлись с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты; в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон,— сказал он.— Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять про́центов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милок,— сказал он Рувиму,— поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может,— ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед.— А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул,— сказал Рувим.— С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно.— Сдаешься? Ты со мной не заводись,— бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

*1940*

## ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла

запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому ни-

когда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная,— вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

*1940*

# СНЕГ

Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура! — думала Татьяна Петровна.— Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налетов,— а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах — их было несколько в городке — и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от ее зеленой воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку, и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын-моряк, что он сейчас на Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?»

— Нет, не помню,— тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь? — кричала из соседней комнаты Варя.

— С роялем,— смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня,— он даже не вздрагивал. Потом осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик,— читала Татьяна Петровна,— вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа,— читала дальше Татьяна Петровна,— и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза, и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи — те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и романс «Для берегов отчизны дальной...» Звонит ли колокольчик у дверей?

Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок — тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди».

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нем была отлита смешная надпись: «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задергал ушами, обиделся, ушел из прихожей: веселый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок, кукол, гармошек и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке.

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогаешь чужие вещи? — сказала она Татьяне Петровне.— Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль — все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая,— ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время.

Поезд пришел в городок днем. Тут же, на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы.

— Эвакуированная,— сказал начальник станции.

Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да,— сказал начальник станции,— хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд? — спросил Потапов.

— Ночью, в пять часов,— ответил начальник станции, помолчал, потом добавил: — Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем.

— Спасибо,— ответил Потапов и вышел.

Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой.

Потапов прошел через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы.

«Ну что ж! — сказал Потапов.— Опоздал. И теперь это все для меня будто чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в березовую рощу.

Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может, заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же,— подумал Потапов,— с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг».

Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно

розовело небо — должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бренчали пустыми ведрами женщины — шли к проруби за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку,— тихо сказала женщина,— вы простудитесь. И пойдемте в дом. Не надо здесь стоять.

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет.

Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание.

Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдемте! — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова еще не прошло.

— Кто же твоя мама? — спросил он девочку и покраснел. Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая,— таинственно прошептала девочка.— А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.

— Почему? — спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу

отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне все кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй,— ответил Потапов.

Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, прошел по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить,— сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.

Потапову постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шепоту Татьяны Петровны,— она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы,— Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался: она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать,— сказала она.— Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потапов ничего не ответил, только кивнул головой.

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались,— писал Потапов,— но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь, и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного

отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся с места. Почему — не знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

*1943*

# ТЕЛЕГРАММА

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной».

Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника,— девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом.— Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая,— шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко.— Ты продай.

— Сдам в утиль,— решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая,— и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж,— говорил он, не дождавшись ответа.— Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша,— шептала Катерина Петровна.— Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздраги-

вал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме,— без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось,— сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя,— писала Катерина Петровна.— Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать,— смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот,— да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь,— что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая,— решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась,— сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь,— буркнул Тимофеев.— А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло.— Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя.

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев.— Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя,— попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор.— Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное,— казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза.— Эх ты, сорока!»

— Ну что? — спросил Тимофеев.— Серьезный дядя, да?

— Замечательно! — с трудом ответила Настя.— Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно,— повторил он.— Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит, конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами.— Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился.— Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе,— сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Пред-

седатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала.— Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя,— со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку.— Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он.— Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев.— Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошѐнная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя.— Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни,— говорил он, покачиваясь и придерживая очки,— забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что? — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму.— Ничего неприятного?

— Нет,— ответила Настя.— Это так... От одной знакомой...

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? — подумала она.— Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя,— вспомнила Настя недавнее письмо.— Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу»,— сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? — думала она, ничего не видя.— Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.

— Ничего,— ответила Настя.— У меня мама...

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы? — крикнула кассирша.— Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

...Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А, бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша? — бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку.— Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне,— ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму.— Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти,— сказала Манюшка хрипло.— Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна.— Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась,— пробормотал Тихон.— Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура,— сказал он сердито Манюшке,— за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:

— Одинокая, должно быть, была эта старушка?

— И-и, мила-ая, — тотчас запела Матрена, — почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

*1946*

## ВОРОНЕЖСКОЕ ЛЕТО

Заповедный лес на реке. Усмани под Воронежем — последний на границе донских степей. Он слабо шумит, прохладный, в запахе трав, но стоит выйти на опушку — и в лицо ударит жаром, резким светом, и до самого края земли откроется степь, далекая и ветреная, как море.

Откроются ветряки, что машут крыльями на курганах, коршуны и острова старых усадебных садов, раскинутые в отдалении друг от друга.

Но прежде всего откроется небо — высокое степное небо с громадами синеватых облаков. Их много, но они почти никогда не закрывают солнца. Тень от них изредка проплывает то тут, то там по степи. Проплывает так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и прячась от палящего солнца.

В степи, недалеко от старого липового парка, поблескивает в отлогой балке маленькая река Каменка. Она почти пересохла. Только в небольших бочагах налита чистая прогретая вода. По ней шныряют водяные пауки, а на берегах сидят и тяжело дышат — никак не могут отдышаться от сухой жары — сонные лягушки.

Липовый парк, изрытый блиндажами — разрушенными и заросшими дикой малиной,— слышен издалека. С рассвета до тем-

ноты он свистит, щелкает и звенит от множества синиц, щеглов, малиновок, иволг и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип — таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова.

У подножья деревьев прячется в тени маленький белый дом. Он некогда принадлежал ныне почти забытому писателю Эртелю, современнику Чехова. Сейчас здесь небольшой дом отдыха.

С птицами в парке у меня были свои счеты. Часто по ранним утрам я уходил на Каменку ловить рыбу. Как только я выходил в парк, сотни птиц начинали суетиться в ветвях. Они старались спрятаться и обдавали меня дождем росы. Они с треском вылетали из зарослей, будто выныривали из воды, и опрометью неслись в глубину парка.

Должно быть, это было красивое зрелище, но я промокал от росы и не очень им любовался. Я старался идти тихо, бесшумно, но это не помогало. Чем незаметнее я подходил к какому-нибудь кусту, переполненному птицами, тем сильнее был переполох и тем обильнее летела на меня холодная роса.

Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека. Но стоило мне закинуть удочки, как тотчас из балки появлялись босые мальчишки.

Они подходили сзади, но так осторожно, что я иногда узнавал об их появлении только по сосредоточенному сопению у себя за спиной.

Мальчишки молчали, сопели и не отрываясь смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них чесал одной ногой другую.

По старому опыту я знал, что при таких обстоятельствах рыба перестанет клевать. Это было необъяснимо, но верно. Стоило даже одному мальчишке остановиться за спиной и уставиться на поплавок, как клев начисто прекращался.

Сначала я решил откупиться от мальчишек. Я раздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем, что они уйдут и не будут мешать мне удить.

Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шепотом и честно ушли. Но через полчаса появилась толпа совершенно новых мальчишек. Уже издали они кричали:

— Дяденька, дай крючкя!

Я понял, что совершил грубейшую ошибку.

Нужно было найти верное средство, чтобы избавиться от мальчишек. Тогда я вспомнил слова писателя Гайдара. Он уверял меня, что на детей сильнее всего действуют загадочные разговоры.

И вот, когда на следующий день мальчишки окружили

меня, начали сопеть и рыба снова перестала клевать, я сказал мрачным голосом, не оглядываясь:

— А вы знаете, ребята, что за это полагается штраф в сто рублей?

— За что? — неуверенно спросил самый шустрый мальчик.

— А вот за это за самое,— ответил я.

Мальчишки переглянулись и, не спуская с меня глаз, начали медленно и осторожно пятиться. Так, пятясь, они прошли шагов тридцать, потом сразу повернулись и бросились врассыпную в степь. Самый маленький бежал сзади, спотыкался, потом вдруг заревел басом. Какой-то шустрый мальчишка схватил его за руку, шлепнул и поволок за собой. Мальчишки исчезли.

Я сам не меньше мальчишек был поражен тем, что случилось. Я засмеялся. В ответ за кустом лозняка кто-то хихикнул.

Я заглянул за куст. Там, уткнувшись лицом в траву, лежали и тряслись от смеха два белобрысых мальчика с длинными веревочными кнутами.

— А вы чего остались?

— Нам нельзя,— сказал мальчик постарше.— Мы пастухи. У нас стадо тут, за бугром.

— А если бы не было стада?

Мальчишка, ухмыляясь, встал.

— Не! — сказал он.— Все одно мы бы не убегли. Мы большие. А те — махонькие. Что им ни посули — они всему верят. Теперь забоялись, долго не прибегут.

Так началась моя дружба с пастухами Витей и Федей. И начались необыкновенные наши разговоры.

— Вы кто? Писатель? — спросил меня сразу же Федя.

— Да, писатель.

— А вы давно заступили в писатели?

— Давно.

— Что-то не видно,— сказал Федя и подозрительно посмотрел на меня.

— Почему это не видно?

— Рыба клюет, а я гляжу, вы все зеваете.

— Что-то ты путаешь,— сказал я.— Рыба здесь ни при чем.

— Ну да,— обиженно заметил Федя.— Как это так ни при чем!

Тогда в разговор вмешался младший пастушок Витя.

— Запрошлое лето,— сказал он, торопясь и захлебываясь,— тут два писателя тоже рыбу ловили. Дядя Жора и дядя Саша. Так дядя Саша ка-ак закинет удочку, ка-ак у него возьмет, ка-ак он дерганет, ка-ак вытащит — вот такого окуня! В локоть! Раз за разом! А дядя Жора — так тот не мог. У дяди

Жоры не получалось. Сидит-сидит весь день и вытащит плотвичку. Худую, мореную.

— Тоже лезешь! — сердито сказал Федя.— Дурной совсем. Так ведь дядя Жора вовсе не был писателем. Понятно? А дядя Саша — так тот писатель. Он двадцать книг написал.

Тогда я наконец понял. В представлении Феди настоящий писатель был существом легендарным, безусловно талантливым во всех областях жизни, был своего рода волшебным мастером «золотые руки». Он должен был все знать, все видеть, все понимать и все великолепно делать.

Мне не хотелось разрушать эту наивную веру маленького деревенского пастуха. Может быть, потому, что за наивностью этой скрывалась настоящая правда о подлинном писательском мастерстве,— та правда, о какой мы зачастую не помним и к осуществлению которой не всегда стремимся.

Почему-то стало стыдно. И даже в малом деле — в рыбной ловле — я с тех пор поклялся себе не прозевать ни одной поклевки, особенно при Феде. Это уже как будто становилось делом чести. Сейчас, в Москве, это кажется мне немного смешным,— то, что я думал тогда, на Каменке, но я не мог допустить мысли, что Федя кому-нибудь скажет.

— Дядя Костя? Да какой же он писатель! Он подсекать не умеет. У него рыба все время срывается.

С тех пор при встречах с Федей я всегда был настороже. Ему нужно было все знать. Он задавал мне множество вопросов. И не на все его вопросы я мог ответить.

Как все пастухи, Федя хорошо знал всякие травы, цветы, растения и любил о них говорить. Я тоже кое-что знал о растениях, но здесь, под Воронежем, было много таких трав и цветов, какие не встречались у нас, в более северной полосе России. Поэтому я был очень доволен, что захватил с собой из Москвы определитель растений.

Я приносил из степи, с берегов Усмани, из заповедного леса охапки разных цветов и трав и определял их. Так постепенно благодаря Феде я погрузился в заманчивый мир разнообразных листьев, венчиков, лепестков, тычинок, колосьев, в мир растительных запахов и чистых красок. Моя комната стала похожа на жилище деревенского знахаря. Связки сухой травы висели на стенах, и лекарственный дух степных растений так прочно поселился в ней, что его не мог вытеснить даже запах отцветающих за окнами лип.

И вот наконец наступил час моего торжества.

По берегу Каменки цвели крупные цветы топтуна. Они были похожи на маленькие белые звезды.

Однажды я пришел на Каменку на рассвете. Тотчас появился и Федя. Он подсел ко мне, достал из кармана хлеб, начал жевать его и расспрашивать меня о всяких обстоятельствах жизни.

Небо было закрыто мглой. В серой воде неподвижно стояли яркие поплавки. Рыба клевала плохо.

Я взглянул на цветы топтуна у своих ног и заметил, что все они закрылись.

— Будет дождь,— сказал я Феде.

— Откуда вы знаете?

— По цветам.

Я показал ему на закрытые цветы. Федя наморщил лоб и долго думал.

— А зачем они перед дождем закрываются?

— Чтобы дождь не сбивал пыльцу.

Я начал рассказывать ему о пыльце, об опылении, о том, что по цветам можно определить время дня. Пока я рассказывал, у меня клюнула плотва, но я прозевал. Федя даже не заметил этого. Он был взволнован моим рассказом.

— Откуда вы все это взяли? — спросил он.— Из школы?

— Из книг.

— Ну, если бы я так-то знал...— протянул Федя и замолчал.

— Что ж? Перестал бы пасти коров? Уехал бы в Воронеж?

— Не! — сказал Федя.— Я здешний. Мне тут привольно. Вырасту большой, сделаюсь председателем колхоза вместо Силантия Петровича, заведу у себя в деревне парники, цветы. Чего-чего я тут не напридумаю. Медовую фабрику открою.

Одинокая капля дождя отвесно упала в воду. От нее пошли тонкие круги. Потом сразу вокруг нас зашевелилась, зашептала трава, вся вода покрылась маленькими кругами, и слабый, но внятный звон поплыл над омутом. Шел тихий теплый дождь. Далеко в разрывы мягких туч светило широкими лучами солнце, и степь дымилась и блестела. Сильнее запахли травы, хлеба и земля. Из-за бугра потянуло парным молоком,— там паслось стадо.

— Гляньте,— сказал мне Федя,— так это же стеклянная трава!

Ворсистые стебли топтуна были сплошь покрыты каплями дождя. И все это маленькое растение так сверкало у наших ног, будто оно было действительно сделано из хрусталя.

Спрятаться от дождя было негде, и мы сидели, накинув на головы Федин ватник.

— Доброе лето! — серьезно сказал Федя.

Эти слова он, должно быть, слышал от кого-нибудь из деревенских стариков. Лето было действительно полно неуловимой доброты — и в легком шуме дождей, и в запахе зреющей пшеницы — предвестнике урожая.

*1946*

## РАЗЛИВЫ РЕК

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась не похожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он

еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это кружение сердца? — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул.— Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят,— доложил он Лермонтову.— В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай бог! Про вас спрашивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется,— уклончиво ответил слуга.— Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что,— спокойно сказал Лермонтов,— ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив,— должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.

— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич,— сказал он укоризненно из окна.

— Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия... В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову: Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь,— приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла...

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных...

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украйны в мерцании звезд незакатных...» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова — высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах.

Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Ивановна променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил: городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала

она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И наконец он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», кажду щепку на горбатой мостовой.

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом.— Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы...

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова.— Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала ты сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

— Я понимаю,— ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку.

— Михаил Юрьевич! — сказала с отчаянием Щербатова.— Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

— Все кончится,— спокойно ответил Лермонтов.— Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

— Да, не решусь,— призналась Щербатова и опустила голову.

— Вы не виноваты,— сказал, успокаивая ее, Лермонтов.— Мне грустно оттого, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

— Ну, вот.— Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки.— Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь,— урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты,— сказал хозяин избы,— мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит...

— То-то вас порют через каждого третьего,— заметил хозяин.— Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат.— Ей-богу, забыл. Одно помню: стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся,— согласился хозяин избы.— Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девочка у тебя засохла, насквозь светится.

— Она вроде немая,— ответил солдат.— Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он.— Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу.— Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и побегит к царю докладать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы.— Так-таки и побегит?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерьме преем,— вздохнул хозяин.— Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, лицо его начало чернеть, и он запел:

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка,— испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата.— Ты не пой: закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего же ты сидишь? — сказал он наконец девочке.— Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она.— Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! — прохрипел солдат.— Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему: помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать,— сказал он.— Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи... хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже,— сказал он наконец,— навязались постояльцы на мой загривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубока, да пуста,— зло бормотал он.— Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился,—
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он.— Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю,— шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало.— Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благодеяний,— сказал он, чуть сердясь.— Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться,— сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя.— Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день...

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам,— сказал он добродушно и слегка поклонился.— Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю,— спокойно ответил Лермонтов,— вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

— Играю на тысячу,— сказал Лермонтов.— Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан.— Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз,— резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули...— сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так... ничего,— пробормотал банкомет.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча,— сказал он.— Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу

слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь,— сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками.— Тюфяк! — повторил ротмистр.— Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так... ничего...» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься,— пробормотал конопатый пехотный капитан.— По всем повадкам видно — головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он.— Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но тогда этот гнев был понятен.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги

— Подай мне мокрое полотенце,— хрипло сказал Лермонтов.— Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

— Пить бы вам надо поменьше,— сказал он наставительно.

— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

— Кабы вы приказали мне ее караулить...— обиженно сказал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где?! — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе,— скороговоркой пробормотал слуга.— Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

— Ступай к себе,— сказал он, сдерживаясь.— И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду,— подумал он.— А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой,— думал Лермонтов.— Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь...

У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать,— вернее, ему казалось, что помнил,— ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года,

то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь,— сказал устало Лермонтов.— Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она.— Серденько мое! Что же делать! Что делать!

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!

— Мария,— сказал он, и голос его дрогнул,— если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне,— шептала Щербатова.— Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо,— сказал он.— Иди. Я сейчас умоюсь и приду.
— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над

черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в неструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, точно боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя для солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна»,— подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин.— Царствие ему небесное, вечный спокой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его ду-

шевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело.

Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых,— коротких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все: за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом.

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все,— подумала с тоской Щербатова,— и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто.— О ком?

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой, пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было

легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу.

Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме
Рано зазвонили.
Молода дивчина
Сына спородыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чабрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель,— сказал, сдерживая гнев, Лермонтов.— Дай мне пройти.

— Куда? — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься,— сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом.

Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело.

Бабка лежала на печке.

— Вот клятый иуда! — сказала она.— Злодий, чтобы добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так... ниоткуда,— ответила бабка.— Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает,— неохотно ответила бабка.— Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой.

Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имеет права играть собой. Он отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве он не написал слова, что «звезда с звездою говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр,— сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы,— рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым.

Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой.

Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду...

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль. Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя, как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле,— одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто двенадцать лет назад.

*1952*

## КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен,— вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ.— Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла,— ответила девочка.— Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами,— печально добавила Дагни.— У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни,— сказал Григ,— я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь,— строго спросила Дагни,— вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так,— неуверенно возразил он.— Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью,— умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав.— И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни»,— подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп,— ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила:— Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку,— решил Григ.— На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки,— ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце,— говорит ей Григ.— Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и на-

полнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, без-

ошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картины, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка,— сказал он,— это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни,— кричала в таких случаях тетушка Магда,— заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи

надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда,— сказал вполголоса дядюшка Нильс,— Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда.— Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье,— говорил он.— Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни.— Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю...— ответила бы Дагни.— За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь,— тихо сказала Дагни,— я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

*1953*

## БЕГЛЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздней ночью я проезжал на машине по Великолуцкой и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны.

Стояли эти Звоны, на бугре, над глухим и, очевидно, очень глубоким озером. Дело было к вечеру. Небо уже померкло, но в окнах домов еще отражался желтоватый холодный закат.

Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Опочку. Среди города шумела и пенилась река Великая.

Я остановился в опочецкой гостинице. И была у меня в этой гостинице мимолетная и интересная встреча.

В гостинице только что окончился ремонт, и потому все было забрызгано известкой, даже электрические лампочки под потолком.

Через час после приезда я встретился в прихожей гостиницы с низеньким седым человеком в потертом пальто.

Старик этот, оказывается, уже знал, что я приехал из Москвы. Он остановил меня и спросил:

— Когда в последний раз вы были в Большом зале Консерватории?

Я был озадачен этим вопросом, но ответил, что был месяц назад, на концерте пианиста Святослава Рихтера.

— Суть в том,— сказал старик,— что я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции. Когда вернетесь в Москву, поклонитесь от меня Большому залу Консерватории и нашему знаменитому органу. Очень прошу вас!

— А вы давно были в Москве?

— Семь лет назад,— ответил композитор и тут же спросил: — Интересовались ли вы, сколько в Великолуцкой области пианино и роялей в так называемых «сельских местностях»? В колхозных клубах и таких городках, как эта благословенная Опочка?

Я снова был озадачен и ответил, что нет, этим вопросом я не интересовался.

— Вот видите! — горестно воскликнул композитор.— А их до безобразия мало.

В прихожую вошел человек в ватнике. От него сильно несло бензином. Должно быть, это был шофер.

— Папаша,— сказал он композитору,— пойдемте в столовую пообедаем. Я сегодня при деньгах. Заправимся под самую пробку.

— Спасибо, голубчик. Но у меня через два часа концерт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу.

Композитор повернулся ко мне.

— Семь лет! — воскликнул он и взял меня за рукав пальто.— За семь лет я объехал весь север, а теперь объезжаю Великолуцкую область. Я даю концерты по селам и маленьким городам. Я мог бы жить в Москве и даже, может быть, преуспевал бы, как многие мои товарищи. Человек я одинокий, мне не много надо. Как сказал некий поэт: «Только корку хлеба, кружку молока да вот это небо, эти облака». Но я, как видите, предпочитаю скитаться по городам и весям и давать концерты. По существу, за гроши. Но не в этом суть! Вы не можете представить себе, как народ тянется к музыке. Особенно молодежь. И как люди благодарны за музыку. Ради этого стоит походить в поношенном пальто.

— На дорогу и то небось не хватает,— заметил шофер.

— Не было еще случая,— гордо ответил старик,— чтобы меня не перевезли бесплатно из одного места в другое. Я композитор, но сейчас я выступаю как пианист. Это справедливо.

— Почему? — спросил я.

— Суть заключается в том,— ответил композитор,— чтобы правильно наметить себе ту наибольшую меру прекрасного, которую вы можете передать людям. Вы понимаете меня? Моим собственным музыкальным вещам далеко до Моцарта или Чайковского, Мусоргского или Шостаковича. Поэтому я предпочитаю увеличить степень своей полезности для народа и лучше играть чужие вещи, чем сочинять свои.

— Точно! — сказал шофер.— Я вот шофер третьего класса, так я на ЗИС сто десять за руль не сяду. Могу запороть машину.

— Погоди, Захар Иванович,— перебил композитор.— Что такое я? Как композитор? Простая мелодия. Без исполинского порыва ввысь, без страсти. А в наше время прежде всего нужно воспитывать большие человеческие чувства. Прежде всего! Поэтому я и стал пианистом, исполнителем бессмертных вещей. Некий поэт сказал: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Золотой отблеск, который бросает на нас искусство,— вечен! Он бесконечно облагораживает нас. В этом суть, дорогой товарищ!

Композитор помолчал, как бы прислушиваясь к отдаленному звуку, потом сказал:

— Я неясно говорю. Плохая привычка. Мне приходится подчас быть не только пианистом, но и настройщиком. И даже музыкальным мастером. На днях был такой случай. Есть здесь поблизости деревушка Звоны. Да, да, чудесная деревня. Над озером. И вот оказывается, в этих Звонах у тамошней сельской учительницы стоит в домишке рояль. Остался ей в наследство от старушки предшественницы. Как он попал к этой старушке, никто толком не знает. Замечательный инструмент! Но на нем было восемь немых клавиш. Пришлось мне самому его чинить. Правда, провозился я с ним долго. Но одолел. Звук — божественный. Теперь его перевезли в колхозный клуб. Вот так и работаем.

— Если рассуждать практически,— сказал шофер,— то вы, Леонид Петрович, вроде как малый ребенок. Как же это можно так неспокойно существовать в вашем преклонном возрасте!

— А ты не рассуждай практически,— заметил композитор и показал глазами на дежурную по гостинице, коротконогую женщину с выпуклыми глазами и поджатым ртом. Она сидела за перегородкой и щелкала на счетах.— Таких вот практически рассуждающих развелось, как капустной тли. Ты лучше на концерт бы пришел.

— А как же! — ответил шофер.— Вы без меня, Леонид Петрович, пока ни одного концерта в Опочке не давали.

Композитор попрощался и вышел.

— Кто этот человек? — спросил я дежурную.

— Сами не видите, что ли! — грубо ответила она и передернула плечами.— Побирается за счет музыки. Только и знает, что нарушать правила внутреннего распорядка. То поет, то приведет мальчишек из ремесленного и учит их в номере играть на гитаре. А у нас люди стоят солидные, командировочные. Выселить его следует за это.

К ночи задул над Опочкой сумрачный, серый ветер, нагнал тучи. Порывами налетал дождь, бил твердыми каплями в оконные стекла, смывал с них известку.

Темнота залегла так густо, что даже яркие фонари на пустынных улицах не могли отодвинуть ее за пределы города. Так она и пролежала над Опочкой до водянистого и холодного рассвета.

Среди ночи я проснулся. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Тусклые тени от веток беспорядочно шевелились на стене над моей головой.

Я лежал и вспоминал о старом композиторе. Как ему, должно быть, одиноко в чужом городке в такие вот окаянные ночи...

За дверью кто-то прошел. Застучал медный стержень рукомойника, висевшего в коридоре, заплескалась вода, и человек, умываясь, запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя вьюга
И волны потока угрюмо шумят...

Тотчас тяжело заскрипела лестница. Кто-то вошел в коридор, и я услышал сварливый голос дежурной:

— Прекратите безобразие! Ишь чего придумали — петь по ночам!

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — раздалось в ответ таким свистящим шепотом и с такой наигранной свирепой угрозой, что дежурная, что-то бормоча о правилах внутреннего распорядка, быстро ушла, а композитор — я узнал его голос — совершенно по-мальчишески рассмеялся ей вслед. Я тоже рассмеялся у себя в номере.

И я понял, что никакие неприютные ночи и никакие бездушные люди не смогут смутить этого чистого сердцем и веселого человека.

Утром я уезжал из Опочки в Псков. По пути я заехал в Пушкинские горы, на могилу поэта.

Как всегда поздней осенью, там было безлюдно и тихо. С могильного холма виднелись сизые дали, тронутые последней позолотой.

На могиле, около простого белого памятника с надписью «Александр Сергеевич Пушкин», я никого не застал. Только через час пришло несколько цыган и цыганок — табор их я видел невдалеке от Пушкинских гор.

Цыгане сели на землю около могилы, о чем-то тихо посоветовались между собой и едва слышно запели протяжную и печальную цыганскую песню.

Не пела только одна молодая цыганка. На ее плечи была накинута нарядная шелковая шаль. Женщина тоже сидела на земле и перебирала палые листья. Потом она встряхнула головой, вынула из черных гладких волос алую бумажную розу, бросила ее к подножью памятника Пушкину и улыбнулась, сверкнув влажными зубами.

Цыганская песня все лилась, как приглушенный звон. Я

вспомнил композитора в Опочке, и в сознании у меня возникла вдруг какая-то смутная связь между этим протяжным напевом и звуками рояля в самых глухих, самых отдаленных углах страны, во всех этих Звонах, Горячих Станах, Сосенках и Каменных Гривах.

Цыгане встали и начали спускаться по выветренной каменной лестнице с могильного холма.

Молодая цыганка ушла последней. Она постояла около могилы, потом обернулась ко мне, сказала хрипловатым голосом: «Я бы тебе, дорогой, спела «Черную шаль», да нельзя — горло сильно болит»,— легко повернулась и ушла вслед за цыганами.

Я остался. Короткий, как мимолетная улыбка, день быстро иссякал, сливая все краски осени в один угрюмый серый цвет. В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек с их почерневшим серебром старых берез и стелющегося дыма.

И почему-то мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство.

*1954*

## СКАЗОЧНИК

### (ХРИСТИАН АНДЕРСЕН)

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Случай с Андерсеном был именно тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая

частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «Снегурка», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. От всех этих вещей заманчиво пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удается.

Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, тот зимний вечер в последний день девятнадцатого века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое потрескивание свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.

Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать ее, чтобы рассмотреть эти картинки, еще липкие от краски.

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту и увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не улавливал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут постичь только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня верить в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом.

Сам Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе, в семье сапожника.

Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск.

Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.

Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из них — средневековый мастер Клаус Берг — вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот — величественный и грозный — наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой, кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу, эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов девятнадцатого века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Одензе. Должно быть, он знал в Одензе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. А у башмачников висели над дверью деревянные вывески с изображением орла с двумя головами в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Отец Андерсена был башмачником, но над его дверью не висело изображение двуглавого орла. Такие вывески имели право держать только члены цеха башмачников, а отец Андерсена был слишком беден, чтобы платить взносы в цех.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.

В них цвели яркие тюльпаны. А за окном слышался перезвон колоколов, лихая дробь барабанщиков около казармы, свист флейты бродячего музыканта и хриплые песни матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний залив.

Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, Христиан находил повод для того, чтобы радоваться и выдумывать всякие истории.

В доме Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но Карл страдал крупным недостатком — он часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое.

Но мальчик не сердился на старого кота. Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день они пряли, сгорбившись, серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова, но уже от себя, рассказывал богаделкам. А те только ахали и шептались между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем идти дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже упоминал вскользь,— на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам приходит в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись да еще легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди нашли бы много любопытных вещей.

Разве не интересен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый солдатский султан? Или обломок перламутровой ракушки — такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством неярких красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать рассказы и сказки — такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:

— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Одензе? Должно быть, он все-таки колдун.

Детей вводит в мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцание рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах — все это никак не походит на действительность и, конечно, может жить только в сказке.

В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь, до самой смерти.

На театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.

Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем сразу: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем его одногодки, и до пожилых лет писал не совсем уверенно, делая орфографические ошибки.

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей, по другую сторону земного шара, находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка

в своих красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного солдата. Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на покой.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек,— любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья для своих кукол (у него уже был свой собственный домашний кукольный театр). А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Умение шить пригодилось впоследствии Андерсену как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись — ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что подарил миру своего сына — сказочника и поэта.

Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Одензе в столицу — Копенгаген — завоевывать счастье, хотя сам еще толком не знал, в чем оно заключалось.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые чудесные сказки.

С раннего детства его память была полна разных волшебных историй. Но они лежали под спудом. Юноша Андерсен долго

считал себя кем угодно — певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений, как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны.

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник,— будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказки?

Сам он говорил, что легче всего писал сказки, оставаясь наедине с природой, «слушая ее голос», особенно в то время, когда отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им особую таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских рождественских праздников, и делал их пестрыми и нарядными, как елочные украшения.

Что говорить! Северная зима, ковры снега, треск огня в печах и свет зимней ночи — все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, не раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика — молодая женщина — сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпляюще покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей, неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:

Я сохранил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний...

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:

— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал.

Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам,— очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Лунд, в которую он был влюблен,— все звали ее «ослепительной Дженни»,— Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не вспоминать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой весной!

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность была совсем не так милостива к нему, как он того заслуживал.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника-бедняка — следует знать свое место среди господ советников и профессоров.

Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт «божьей милостью», был беден и, наконец, за то, что он «не умел жить».

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

«Все хорошее во мне топтали в грязь»,— говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, даже не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и слышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан розами.

Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности открывать поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. Он вошел в «Рабочий союз» и первый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Копенгагена. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам,—
Из их среды почивший вышел сам...

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова можно отнести к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.

Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале,— говорил о себе под старость Андерсен,— так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя:

«Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вот на двадцать третьем году жизни вышла первая подлинно андерсеновская книга — «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил наконец выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».

Легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось для него ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным основанием назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, куда бы Андерсен ни попадал, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнял его ощущением собственной силы.

В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах «дорожной поэзии», в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.

Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора.

Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин.

Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти.

Свою повесть об Италии Андерсен написал, как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.

Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы: «Дания» и «Каледония». Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкипера посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лоханками». Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена.

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались «настоящие путешествия» Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.

Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохота.

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф,— то дымили лондонские доки.

— У нас полон дом детей,— сказал Диккенс Андерсену,

хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек — сыновей и дочерей Диккенса — вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.

Но чаще всего и дольше всего Андерсен бывал в Италии.

Рим стал для него, как и для многих писателей и художников, второй родиной.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.

Он был поэтом бедняков, несмотря на то что короли считали за честь пожать его сухощавую руку.

Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа, и нигде больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

*1955*

# УСНУВШИЙ МАЛЬЧИК

С вокзала до пристани пришлось идти через весь городок. Недавно прошел лед, и река широко отблескивала желтой водой. Была самая ранняя весна — сухая и серая. Только на сирени в палисадниках уже зеленели почки.

Можно было, конечно, взять у вокзала дребезжащее, повидавшее виды такси, но времени до отхода речного катера оставалось еще много, и гораздо приятнее было медленно пройти через весь город — мимо сводчатых торговых рядов, по кирпичному мосту над оврагом, где шумел, пенясь, ручей и бродили, приглядываясь к замусоренной земле, надменные грачи, мимо маленькой электростанции, пыхтевшей мазутным дымом из высокой железной трубы, мимо домиков с такими чистыми окнами, что с улицы были хорошо видны освещенные утренним солнцем фикусы, олеографии запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, горки с посудой и спящие на креслах коты.

В голых окраинных садах сидели на покосившихся скворечнях и сипло посвистывали, отогреваясь, скворцы.

Возле пристани стоял катер, отдохнувший и умытый после зимней спячки,— свежевыкрашенный, с начисто протертыми стеклами и синей полосой на белой трубе.

Пассажиры подходили редко и медленно. Поэтому молодой

капитан катера в сплюснутой блином форменной фуражке, женщина-матрос в ватнике и растрепанный моторист с неизменным пучком пакли в руке встречали каждого нового пассажира, как доброго родственника. Даже появление угрюмой бабы с мешком на плече, где ходуном ходили и отвратительно визжали поросята, не вызвало у них обычного недовольства.

Потом пришла девица с копной светлых, завитых барашком волос, с непоправимо обиженным лицом. На все попытки капитана и моториста заговорить с ней она сухо отвечала:

— Я в ваших разговорчиках, гражданин, не нуждаюсь.

Последним явился знакомый садовник из нашего городка, что расположен в тридцати километрах вверх по реке. Жители городка добродушно, но несколько насмешливо звали его Левкоем Нарциссовичем, хотя имя у садовника было Леонтий, а отчество Назарович.

Леонтий Назарович всю жизнь был обуреваем великой мечтой превратить родной городок в сплошной сад и цветник или, как он выражался, в «вертоград».

Каждый посаженный им куст акации или сирени, по его словам, был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного цветения и дивного благоухания. На деле все это оказывалось не совсем так, но Леонтий Назарович этим не смущался, и благородный его пыл от этого не ослабевал.

Леонтий Назарович был человек разговорчивый, весьма быстрый и суетливый. Он носил и лето и зиму старую жокейскую кепку и, кроме того, сломанные очки. Одной дужки у них всегда не хватало. Леонтий Назарович заменял ее тесемкой. Купить новую оправу ему было некогда. На замечания знакомых по поводу сломанных очков Леонтий Назарович всегда торопливо отвечал:

— И не просите! Некогда! Я сейчас новый сквер разбиваю, едва вымолил разрешение у горсовета. Какие там, к черту, очки!

В этих словах была, конечно, какая-то доля рисовки, но ее Леонтию Назаровичу охотно прощали.

Леонтий Назарович всегда с кем-нибудь воевал из-за новых посадок, доказывал, спорил, уничтожал противников ссылками на таких людей, о каких в нашем городке почти никто не имел понятия,— на знаменитого создателя великолепных парков Гонзаго, на разных видных ботаников, но чаще всего на профессора Климентия Аркадьевича Тимирязева («Видели небось фильм о нем, «Депутат Балтики», а возражаете против прямой очевидности, что надо каждый клочок земли непременно озеленить»).

Но больше всего воевал Леонтий Назарович с женой — рыхлой и сонной женщиной, весь день позевывавшей от скуки. Она считала, что Леонтий Назарович закис в ничтожном городке, тогда как мог бы работать садовником если не в Кремле, то по крайности в Летнем саду в Ленинграде.

С весны до поздней промозглой осени Леонтий Назарович возился в скверах и на прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. Начал он эту историю со времени войны с Наполеоном, так как считал, что все, бывшее до этой войны, недостоверно

Городок стоял высоко над Окой среди таких просторов, что от них иной раз захватывало сердце.

Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей и деревень издавна привлекала сюда художников, считавших все эти места наилучшим выражением русской природы. Поэтому в истории города самое видное место Леонтий Назарович отводил художникам. Живопись он любил, охотно читал книги по искусству и жадно собирал репродукции.

Сейчас Леонтий Назарович вез из областного города саженцы жасмина и семена однолетних цветов.

У Леонтия Назаровича была своя теория об исключительно благотворном влиянии растительности на человеческую психику. На катере он как раз завел разговор на эту тему к явному неудовольствию девицы в кудряшках. Она все время передергивала плечиками и насмешливо кривила губы.

Катер подвалил к бывшей усадьбе художника Поленова. Она стояла, как оазис, среди сухих берегов, разрушенных взрывами. По всем берегам реки рвали бутовый камень. На пыльных откосах от недавних сосновых лесов не осталось не то что деревца, но даже травинки.

Взрывы сотрясали всю округу, расшатывали постройки, заваливали судоходную реку щебенкой, съедали растительность, и казалось, что по берегам реки быстро расползается сухая экзема.

— Удручающая картина! — сказал мне Леонтий Назарович.— А все от скопидомства. Камня этого всюду достаточно. Однако беспощадно рвут берега, потому что отсюда вывозить камень на какие-то копейки дешевле.

Мы отвели душу, изругали невежественных хозяйственников, которые руководствуются одним только правилом «после нас — хоть потоп». Потом поговорили о Поленове (Леонтий Назарович был с ним знаком) и вспомнили великолепного художника Борисова-Мусатова, жившего и умершего в нашем городке и похороненного на косогоре над самой Окой.

Борисов-Мусатов любил этот косогор. С него он написал один из лучших своих пейзажей — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы не чувствовалось, что каждый желтый листок березы прогрет последним солнечным теплом.

В такие осенние дни, как на этой картине, всегда хочется остановить время хотя бы на несколько дней, чтобы медленнее слетали последние листья и не исчезала так скоро у нас на глазах прощальная красота земли.

И вот добрый горбун — художник Борисов-Мусатов остановил эту прелестную осень, чем-то похожую в моем представлении на девушку со светлыми и строгими глазами, обещающими горе и счастье.

На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева — на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством.

Когда я был последний раз на могиле Борисова-Мусатова, изгородь валялась сломанная, возле памятника паслись козы и, поглядывая на меня желтыми наглыми глазами, сдирали начисто кору с соседнего куста бузины...

Я рассказал об этом Леонтию Назаровичу, но он как будто пропустил мимо ушей мои слова и, чтобы переменить разговор, начал расспрашивать меня о моей недавней поездке на Запад.

— Был ли у вас,— спросил меня Леонтий Назарович,— какой-нибудь интересный случай, касающийся цветов и растительности? Очень я люблю такие истории.

Я рассказал ему о голландском рыбачьем поселке Шевенингене. Мы приехали туда в сумерки. Северное море шумело у широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани на рыболовных ботах были развернуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали пустые бочонки из-под рыбы, и женщины и дети, одетые во все черное, стучали по булыжной набережной деревянными туфлями — сабо.

Быстро темнело. На дамбе зажегся старый маяк и начал равномерно швырять по горизонту вертящийся луч своего огня. Вслед за маяком на дамбе невдалеке от поселка вспыхнул сотнями огней стеклянный ночной ресторан. Сюда приезжали кутить из Гааги, Амстердама и даже из Брюсселя. Мы подошли к ресторану. Около него стояла огромная грузовая машина, окруженная толпой детей. Лакеи во фраках выгружали из машины вазоны с гиацинтами.

Свет маяка проносился над цветами, и они казались совершенно фантастическими по своей окраске. Там были гиацинты точно из воска и старого золота, из бирюзы и снега, из красного вина и черного бархата.

Дети смотрели на цветы как зачарованные. Высокий шофер стоял, прислонившись к капоту машины, и курил фарфоровую трубку. Он будто нечаянно толкнул одного из лакеев, похожего на Оскара Уайльда. Лакей уронил вазон. Шофер поднял золотой гиацинт с комом земли, отряхнул землю и протянул цветок худенькой девочке с длинной светлой косой, особенно заметной на ее черном платье.

Девочка присела, схватила цветок и побежала с ним к поселку. За ней бросились, смеясь и перекликаясь, все дети.

Луч маяка пронесся над головой бегущей девочки, рассеянный свет упал на ее волосы, и вся эта сцена представилась мне главой из еще не написанной сказки о бледно-золотом цветке, осветившем своим таинственным огнем рыбачью лачугу.

Лакей в упор посмотрел на шофера. Шофер усмехнулся и пожал плечами. Потом они засмеялись, дружелюбно похлопали друг друга по плечу и разошлись.

А в ресторане за матовой стеклянной стеной пел джаз и пахло гиацинтами и травянистой весной.

— Да,— сказал Леонтий Назарович, выслушав этот рассказ,— у нас в жизни человеческой многое еще не обдумано.

— Что, например? — спросил я.

— Да я все об этих цветах,— ответил задумчиво Леонтий Назарович.— Жизнь человеческая должна быть украшена. Обязательно. Глупое выражение, что жизнь наша — жестянка, надо давно позабыть. Цветы и все прочее, отрадное для души и глаза, должно сопровождать нас на нашем житейском поприще. От этого человек становится не в пример великодушнее.

Катер подошел к нашему городку, ткнулся носом в скользкий после разлива берег, и мы с Леонтием Назаровичем сошли по узким сходням.

— Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова? — спросил меня Леонтий Назарович, остановившись со мной под вековой ивой. Она казалась не деревом, а мощным архитектурным сооружением, каким-то кряжистым собором, облицованным серой корой.

— Прошлой осенью.

— Что же это вы! — сказал с упреком Леонтий Назарович.— Знаменитых своих земляков забываете. А за компанию на катере — спасибо. Утешили вы меня этим рассказом о девочке.

Мы распрощались. Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани.

Еще издали, подходя к могиле, я заметил, что она окружена новой изгородью. Внутри все было прибрано, и большой полукруг недавно посаженных кустарников замыкал фигуру спящего мальчика, отмытую от глины.

Через два дня я встретил Леонтия Назаровича на бульваре у реки, где он высаживал кусты жасмина. Мы сели покурить на скамейку над рекой. С огородов тянуло навозом, дымком, и непрерывно горланили петухи — радовались теплой весне.

И я рассказал Леонтию Назаровичу еще одну маленькую историю о гробнице Рафаэля в Риме и о старом стороже этой гробницы, который каждую неделю покупал из своего скудного заработка цветы и клал их на гробницу. Там было погребено нежное и доброе сердце великого итальянца.

— Я так понимаю,— сказал мне Леонтий Назарович,— что вы это специально для меня рассказали. Спасибо на добром слове. В поступке этого бедняка итальянца я вижу большую человечность в обширном понимании этого слова. Большую человечность,— повторил он и вздохнул.— На ней только и может держаться наша всеобщая жизнь.

Конечно, он не сказал ни слова о том, что украсил могилу Борисова-Мусатова.

Из-за дальнего лесистого поворота реки показался знакомый катер. Издали он казался отражением в реке одного из облаков, проплывающих над нами в весеннем небе.

*1957*

## ТОЛПА НА НАБЕРЕЖНОЙ

— Когда ты сойдешь на берег в Неаполе,— сказала мне моя дочь — молодая женщина, склонная к неожиданным поступкам,— то подари эту матрешку первой же итальянской девочке.

Я согласился. Кто знает,— может быть, это поручение приведет к какому-нибудь лирическому событию. А от таких событий мы основательно отвыкли.

До моего отъезда матрешка в шали пышного алого цвета стояла на письменном столе. Она была густо покрыта лаком и блестела, как стеклянная.

В ней было скрыто еще пять матрешек в разноцветных шалях: зеленой, желтой, синей, фиолетовой и, наконец,— самая маленькая матрешка, величиной с наперсток,— в шали из сусального золота.

Деревенский мастер наградил матрешек чисто русской красотой — соболиными бровями и рдеющим, как угли, румянцем. Синие их глаза он прикрыл такими длинными ресницами, что от одного их взмаха должны были разбиваться вдребезги мужские сердца.

С детских лет я представлял себе Неаполь довольно ясно, даже с некоторыми подробностями.

В действительности Неаполь оказался как бы сдвинутым

в пространстве и цвете. То, что я привык представлять себе с правой стороны, находилось слева; то, что в воображении я видел белым, оказывалось оливковым или коричневым, а классический дым над Везувием совершенно исчез. Везувий уже два года не дымил. Говорили, что он погас навсегда.

Ранним утром наш пароход причалил к молу около замка Кастель-Нуово. На молу толпились черные монахини в белых крылатых чепцах. Они еще издали торопливо крестили и благословляли наш пароход.

Внезапно к монахиням подъехала на мотороллере полная пожилая игуменья и что-то гневно крикнула. Монахини, испуганно озираясь, засеменили мелкой рысью прочь от нашего парохода и скрылись в утренней дымке неаполитанских улиц. Игуменья, рыча мотороллером, умчалась за ними.

Очевидно, произошла путаница, и монахини встретили и благословили совсем не тот пароход, какой было нужно.

Действительно, вскоре рядом с нами причалил старый, кривой на один борт пароход «Палермо». Выцветший итальянский флаг уныло висел на его корме. Пароход привез из Палестины паломников, поклонявшихся гробу господню.

От «Палермо» несло кофейной гущей и ладаном. В каютах висели черные распятия и пучки колючей травы. То были злаки и тернии Иудеи, жалкий корм верблюдов и ослов, одеревенелые растения пустыни.

«Палермо» высадил паломников и тотчас уснул, привалившись к пристани. Шершавые водоросли свисали с его красного днища, и казалось, что престарелый этот пароход так устал от длинного рейса, что у него не хватило силы побриться.

Но «Палермо» не повезло. Ему не дали поспать даже полчаса. Два развязных буксира с трубами набекрень подошли к «Палермо», зацепили сонный пароход стальными тросами и оттащили от мола, чтобы дать место американскому пароходу «Президент Гувер».

Американец был белый, длинный и скучный. Он привез туристов, в большинстве пожилых. По его палубам бродили, переваливаясь, крашеные дамы в сморщенных купальных костюмах и темных окулярах самых затейливых форм: в виде летучих мышей, трапеций, тропических бабочек и парашютов. Мужчины ходили в трусах, не стесняясь своих синеватых петушиных ног.

Но самым удивительным здесь, в Неаполе, где краски неба, облаков и моря превращают весь видимый мир в голубой вкрадчивый дым, а ночи рыдают голосами уличных музыкантов,— самым удивительным и неприятным было то обстоятельство, что эти американские мужчины и женщины оказались неслыханно пресными, скучливыми и, конечно, не поступились ни одной из своих застарелых привычек. Для них в мире не было ничего

поразительного. Земля не давала им достаточных поводов для восхищения, хотя и заслуживала по временам поощрительного похлопывания по плечу.

Через огромный зал таможни с выложенными на полу мозаиками каравелл мы вышли на мол и ступили на итальянскую землю. Она была вымощена обыкновенной брусчаткой. По камням бродили толпы голубей.

Полицейские в белых тропических шлемах и белых лакированных портупеях смотрели на нас пристально и выжидательно. Иногда их глаза просто умоляли нас о чем-то для нас непонятном. Но вскоре выяснилось, что полицейские жаждали получить московские сувениры («сувениро ди Моска»), в особенности значки с видами Кремля. Открыто выпрашивать сувениры они не решались.

Я вышел на набережную. Я не забыл об итальянской девочке и нес матрешку, завернутую в папиросную бумагу. Любители сувениров некоторое время молча и укоризненно брели за мной, потом отстали.

Никакой девочки я сразу не встретил. Правда, я легко мог пропустить ее, потому что часто останавливался и смотрел в глубину улиц, выходивших на набережную.

Эта глубина улиц была заманчива и таинственна. Заманчива причудливым переплетением мощных завитков колонн с черными ветками тиса, крикливых вывесок со струями совершенно хрустальной воды из фонтанов, крылатых полногрудых богинь на фасадах домов с разноцветным блеском церковных витражей, полосатых тентов над кофейнями с одуряюще пахнущими олеандрами. Их розовые цветы слабо качались от непрерывного автомобильного ветра. Улицы выносили, как реки, на раскаленную набережную холодный ток воздуха из мраморных зданий.

Девочки все не было. Я с досадой подумал, что она успела, должно быть, незаметно прошмыгнуть мимо меня. Я заставил себя наконец оторваться от зрелища приморских улиц и посмотрел вдоль набережной. Сначала у меня потемнело в глазах от плотного солнечного света, потом зарябило от корзин с незнакомыми цветами, выставленными на продажу вдоль мостовой, и, наконец, я увидел ее.

По пути к берегам Италии я иногда представлял себе девочку, которую встречу в Неаполе первой. Она казалась мне похожей на юную сборщицу винограда с известной картины Брюллова: те же синие волосы, полные глубокого солнечного блеска, те же лукавые глаза и смуглые персиковые щеки.

Девочка, что сейчас шла мне навстречу, была совсем не такая. Ей было лет десять. Она вела за руку маленького мальчика. Он все время оглядывался на что-то, поразившее его воображение, и потому шел боком Девочка просто волокла его и что-то сердито ему выговаривала.

Зрелище за спиной мальчика было, конечно, не совсем обык-

новенное. На небольшой пароход (должно быть, этот пароход ходил недалеко — в Сорренто или Кастелламмаре) втаскивали старого плешивого осла. Осел не хотел идти на сходни, упирался всеми четырьмя ногами и отвратительно икал от возмущения. В конце концов на него накинули лямку и втащили его на палубу паровой лебедкой. Делалось это, очевидно, из одного озорства.

Лебедка тарахтела. Из нее бил пар. Портовые грузчики в пестрых рубахах свистели и аплодировали ослу, но он не обращал на это никакого внимания.

Я смотрел на девочку. Она была лучше, чем брюлловская сборщица винограда,— несравненно проще, беднее и милее.

На ней было старенькое черное платье, протертое на локтях, заштопанные светлые чулки и старые — тоже черные — тапочки. И все это черное удивительно вязалось с ее худеньким, бледным лицом и неожиданно светлыми, чуть рыжеватыми косами, завязанными на груди небрежным узлом.

Когда девочка подошла ближе, я развернул папиросную бумагу и вынул из нее матрешку.

Она увидела матрешку, остановилась и засмеялась, прижав к груди смуглые пальцы. Чему она смеялась, я не знаю. Быть может, красоте неизвестной игрушки, пылавшей под солнцем Неаполя. Так смеются люди, когда сбываются их любимые сны.

Я протянул матрешку девочке. Она не взяла ее. Она перестала смеяться, сдвинула темные брови и испуганно метнулась в сторону. Я схватил ее за руку и почти силой заставил взять куклу.

Она потупилась, присела и сказала едва слышно:

— Грацие, синьоро!

Потом снова присела и подняла на меня влажные, сияющие глаза. Мне трудно было поверить в то, что девочка так сильно обрадовалась такому пустяку, как матрешка. Но я увидел вблизи ее худенькие ключицы под ветхим платьем, увидел и другие приметы безропотной бедности и понял, что для этой девочки матрешка и вправду — большая радость.

Тогда я еще не знал зловонных от гнилых овощей кварталов Неаполя, не знал и окраин к северу от города, где дым канареечного цвета, пахнущий кислотами, висит над пустырями. И там и тут жили люди.

Все это я встретил позже. Сейчас же Неаполь беспечно сверкал, щедро отдавая морю тот блеск, что оно изливало на него.

Девочка все благодарила меня. Мальчик был еще так мал, что, как ни задирал голову и ни старался увидеть, что происходит с сестрой, не мог заметить матрешку. Но все же, подражая сестре, он гудел снизу, из-за ее коленок, хриплым басом:

— Грацие, синьоро!

Я наклонился к мальчику, но в это время кто-то обнял меня сбоку за шею, заглянул в лицо, и я увидел рядом с собой смеющиеся твердые губы и широко открытые радостные глаза.

Молодая женщина, должно быть крестьянка, в синей юбке с оборками и легкой черной шали, накинутой на плечи, прижалась на мгновение горячей щекой к моей щеке и произнесла гортанно и нежно все те же слова:

— Грацие, синьоро!

Это была одна из продавщиц цветов, сидевших на набережной. Она подбежала ко мне и начала благодарить за то, что я подарил такую редкую игрушку итальянской девочке.

Через минуту вокруг нас уже перекрикивалась разноцветная толпа продавщиц. Они оставили без надзора свои лотки с апельсинами, дешевыми кораллами, цветами, лентами, американской жевательной резинкой и сигаретами. Они хлопали меня по плечу, обнимали, что-то кричали мне прямо в лицо, и глаза у них смеялись.

Матрешка пошла по рукам. Женщины смотрели на нее, как на солнце, прикрыв глаза ладонями, и чмокали от восхищения. Они тормошили девочку, поздравляли ее, поправляли на ней старенькое платье. Одна из женщин быстро заплела ей наново косы и вплела в них оранжевую ленту.

Женщины всячески старались украсить девочку, даже прикололи к ее платью бутон желтой розы. И девочка действительно как бы расцвела под их ласковыми пальцами.

Во всей этой шумной заботе было заметно смущение женщин перед иностранцем, перед «советским синьором»,— смущение из-за изможденного лица девочки, ветхого ее платья и всего ее нищенского вида.

Толпа росла. Мчавшиеся по набережной такси останавливались около нас. Шоферы спрашивали, что случилось, после чего поспешно выскакивали вместе с пассажирами из машин и протискивались к девочке. Портовые рабочие, те, что освистали старого осла, напирали сзади. Откуда-то нахлынули школьники. Они аплодировали матрешке, хлопая книгой о книгу, и при этом из книг вылетали оторванные страницы. С военного грузовика соскочили и смешались с толпой солдаты-берсальеры с петушиными хвостами на кепи.

Старый извозчик влез на козлы своего веттурино, украшенного цветами и бубенцами, будто это был маленький цирк на колесах, и пел фальцетом, воздев руки к небу, какую-то песенку.

Девочка вся искрилась от восторга, от всего этого необыкновенного случая в порту.

Внезапно все стихли. Я оглянулся. К толпе медленно шел таможенный надсмотрщик в кепи с золотым галуном и маленьким, как будто игрушечным, пистолетом, висевшим на поясе в белой лакированной кобуре.

Он шел уверенно, раздвигая толпу. Лицо его с короткими усиками было совершенно бесстрастно.

Надсмотрщик подошел к девочке, взял у нее из рук матрешку и начал ее тщательно рассматривать, наморщив брови. Девочка умоляюще смотрела на него. Несколько раз она робко протягивала к матрешке руку, но тотчас отдергивала ее.

Надсмотрщик поднял голову и обвел глазами толпу. Десятки настороженных глаз, в свою очередь, смотрели на него. Тогда надсмотрщик усмехнулся и щелкнул пальцами. Толпа неопределенно зашумела.

Надсмотрщик поднял над головой матрешку, показал ее на все стороны, как это делают фокусники («О, ля-ля!»), потом быстрым и совершенно незаметным движением открыл матрешку и выхватил из нее вторую — в яркой зеленой шали.

По толпе прошел тихий восторженный гул. Надсмотрщик снова щелкнул языком, и из зеленой матрешки мгновенно появились желтая, потом синяя, фиолетовая и, наконец (он вынул двумя пальцами и осторожно поднял), последняя — самая маленькая матрешка в золотой шали.

Тогда толпа как бы взорвалась. Вихрь криков пронесся над ней. Люди хлопали в ладоши, свистели, били себя по бедрам, топали ногами и хохотали.

Надсмотрщик так же спокойно собрал все шесть матрешек в одну и отдал девочке. Она прижала матрешку не к груди, а прямо к своему бьющемуся от счастья горлу, схватила мальчика за руку и бросилась бежать.

Надсмотрщик на ломаном французском языке сказал мне наставительно и суховато:

— Вы сделали маленькую оплошность, мосье.

— Какую?

— Вы могли подарить эту игрушку не одной, а шестерым девочкам-неаполитанкам.

Он был прав, конечно, относительно шестерых девочек. Может быть, поэтому он так величественно поднес руку в белой перчатке к своему кепи и ушел несколько надменно и горделиво.

Вот, собственно, и все, что случилось в то утро с матрешкой в Неаполитанском порту, если бы не некоторое добавочное обстоятельство. Оно принадлежит к тому ряду явлений, какие, может быть, существуют только в нашем воображении и являются плодом наших желаний. Но, несмотря на это, они действуют на дальнейшее течение наших дней с неотразимой силой.

Девочка исчезла, забыв напоследок попрощаться со мной. Эту ее ошибку исправила все та же молодая крестьянка в синей юбке с оборками. Она снова обняла меня, снова ласково при-

жалась смуглой пылающей щекой к моей щеке и сказала, но теперь уже вполголоса и смущенно:

— Аддио, мио каро синьоро!

Она тотчас убежала вместе с другими продавщицами к своим корзинам с цветами, а у меня на щеке остался горьковатый и тягучий запах ее лица. Он был похож на запах лаванды.

Он был удивительно стойкий, этот запах, держался несколько дней и исчез только в Риме, куда я ездил на несколько дней из Неаполя. Может быть, я так долго слышал этот запах только потому, что мне этого очень хотелось.

Когда поезд Неаполь — Рим, поминутно пытаясь сорваться с рельсов и обрушиться в желтые ущелья Апеннин, мчался к Риму, я смотрел в окно на маленькие горные города и думал, что каждый из них мог быть родиной этой крестьянки.

То были очень старинные города на вершинах гор, зубчатые крепости, обнесенные выщербленными стенами. Там позванивали колокола угрюмых соборов, где, может быть, светились в полутьме алтарей божественные фрески Джотто или самого Рафаэля.

Белые — петлистые и пустынные — дороги подымались к этим городам из выжженных засухой долин. По этим дорогам семенили ослы. Лучше всего были видны их темные уши. Тоненькие ослиные ноги сливались с цветом шиферной пыли, и потому их было нельзя рассмотреть.

Я представлял себе эти города, узкие улицы около высохших от старости фасадов, пестрые вывески кино и треснувший мрамор разрушенных фонтанов, узловатые оливы в садах, как бы отлитые из ноздреватого олова, и думал, что, может быть, вот в таком городке у меня уже есть близкое сердце — такое же нежное, как теплота маленькой зардевшейся щеки. И если мне в жизни будет особенно тяжело, то это простодушное сердце никогда не откажет мне в помощи и утешении.

Я был уверен в этом. И эта вера бесконечно облегчала жизнь.

На обратном пути поезд из Рима пришел в Неаполь поздней ночью. В открытое окно вагона дул теплый морской ветер с привкусом нефти. В узких домах вдоль полотна было, конечно, темно, и только в ярко освещенной будке стрелочника сидел на подоконнике и играл на мандолине юноша с бакенбардами и лицом Ива Монтана.

Это было мое последнее впечатление от Неаполя.

Поезд подали на мол прямо к пароходу. Пароход тотчас отчалил. С палубы в свете неестественно ярких фонарей было видно то место на набережной, где днем сидели продавщицы. Я всматривался в него, стыдясь сознаться самому себе, что жду чуда, жду, что на пустынной мостовой появится молодая крестьянка в синей юбке с оборками и побежит по молу вслед за пароходом, уже медленно резавшим стальным носом мрак ночи и черную воду залива.

На мгновенье мне даже показалось, что я вижу вдали неясную женскую фигуру. Но это была одна из тех легких теней, какими полны портовые ночи.

Я просидел на палубе до рассвета, пока не открылись в слабо голубеющих и необъятных водах огни Сардинии.

Рассвет я встретил с сожалением. Я знал, что каждый день будет удалять от меня прошлое и погружать его в темноту так же медленно и верно, как иссякает в зрительном зале перед спектаклем электрический свет.

*1958*

# ПЕСЧИНКА

Многие убеждены, что рассказы должны быть поучительными. Но есть люди, преимущественно сами писатели, не желающие безоговорочно соглашаться с этой истиной. Они утверждают, что некоторые рассказы, хотя ничему и не учат читателей, могут просто порадовать их, показав, к примеру, красоту какой-нибудь крошечной песчинки, которая умеет преломлять солнечный свет, извлекать из него множество разноцветных сияний и радуг.

Как-то мы говорили об этом с моим знакомым пожилым писателем, сидя на каменном парапете Крымского шоссе.

Прямо перед нами по щебенчатому откосу цвели густыми золотыми брызгами кусты дрока, а позади дымилось и сверкало, как синяя бездна, Черное море. Оно гнало к берегу тысячи небольших пенистых волн.

Волны шли под углом к берегу, с юго-востока, и потому прибой обрушивался на пляжи не одним ровным грохочущим валом, а равномерным набегом косых волн.

— Такой прибой работает, как винт Архимеда,— сказал пожилой писатель. В прошлом этот писатель был инженером и потому употреблял и в жизни, и в своей прозе технические сравнения.

Выше кустов дрока тянулись по кремнистым изгибам вино-

градники. Там работали девушки в белых косынках, повязанных очень низко, у самых бровей. Ветер трепал выгоревшие подолы их легких платьев.

Одна из девушек бежала вприпрыжку по шоссе, спускаясь к морю. В нескольких шагах от нас она споткнулась, упала, сильно ушибла ногу о камень, вскочила и поскакала на одной ноге к парапету.

Она села рядом с нами и, всасывая воздух сквозь стиснутые от боли зубы, подняла раненую ногу, обхватила ее руками и смущенно засмеялась. Она старалась сделать вид, что ничего не случилось и ушиб пустяковый. Но по ее потускневшим глазам было видно, что ей очень больно.

Я пошел к небольшому ручью, перебегавшему через шоссе и уже успевшему намыть на асфальте полоску чистого крупного песка, намочил платок и принес девушке. Она поблагодарила и, морщась, обернула разбитые пальцы мокрым платком.

— Никак боль не проходит,— пожаловалась она виноватым голосом.— Вот глупость!

— Сидите тихо! — строго сказал ей пожилой писатель.— Сейчас поймаем первую же машину и отвезем вас в Мисхор. В поликлинику.

— Не надо! — взмолилась девушка.— Лучше подольше посидеть. Может быть, само пройдет.

Мы согласились.

Девушка была тоненькая, в коротком, некогда зеленом, а теперь выцветшем до серого цвета стареньком платье. Она смотрела на свою ногу, не поднимая глаз, и потому были хорошо видны только ее длинные черные ресницы. Из-под белой косынки выбивались каштановые волосы.

— Где вы живете? — спросил пожилой писатель.

— Вся наша бригада живет в палатках,— ответила девушка.— Вон там, за виноградником. Мы на этом винограднике работаем.

Она подняла глаза, и я удивился: при темном цвете ресниц и волос я ожидал увидеть темные глаза, но они у нее были светло-зеленые и как бы покрытые влагой слез,— так сильно они блестели.

Оба колена у девушки были ободраны о щебенку. На них виднелись мелкие точечки крови.

Чтобы отвлечь наше внимание от раненой ноги, девушка сказала:

— Какой дрок... великолепный!

— На что он похож? — спросил писатель.— Не знаете?

— Нет, не могу догадаться.

— Тогда я вам скажу.

Я был уверен, что писатель приведет сейчас какое-нибудь сугубо техническое сравнение, но он посмотрел на дрок, подумал и сказал:

— Если бросить морские голыши в золотую воду, то получатся вот такие фонтаны. Брызги и всплески. Правда?

— Да, правда,— тихо сказала девушка.— Вы сказали, как у хорошего поэта в стихах. Я очень люблю стихи. Но сейчас мне некогда читать.

Она рассказала, что год назад окончила школу-десятилетку в маленьком городке на Полтавщине, что городок этот называется Хорол, что около него протекает теплая мелкая речка, заросшая стрелолистом. Рассказала, что ее отец давно умер, а мать — медицинская сестра — так занята, что у нее не остается времени для своей единственной девочки, то есть для нее, для Лели. Рассказала, что после школы решила стать ботаником-селекционером и поэтому проходит сейчас трудовую производственную практику на крымских виноградниках. Дело это трудное и тонкое, сорт винограда у них на плантации капризный, но, главное, работа очень каменистая.

— Какая? — удивленно переспросил писатель.

— Каменистая. Земля как камень, корень лозы тоже твердый, как камень, вокруг пышет жаром от раскаленных солнцем камней. Я сначала так страдала от жары, даже плакала. А вот сейчас полюбила эту жару, и мне теперь кажется, что она украшает землю. Но самое хорошее время — это когда жара настоится к сумеркам, начнет едва заметно спадать и воздух сделается таким тихим и нежным, что сама себе кажешься счастливой.

— Правда, счастливой! — повторила она и чуть покраснела.— Нас в школе директорша все учила-учила, что нельзя поддаваться чувствительности. А сейчас я поняла, что это было глупо. Я догадалась, что вы писатели. Тут в Ялте у вас есть писательский дом. Писатели всё должны понимать спокойнее и добрее, чем другие люди. Так вот скажите мне: разве плохо быть добрым и сильно чувствовать состояние людей и красоту, какая есть вокруг? А меня все обвиняют в чувствительности, даже иной раз и здесь, в бригаде. Чем я виновата, что вон впереди Аю-Даг весь в синем дыму сливается с синим небом и даже будто растворяется в нем? А мне от этого радостно на душе. Так радостно, что я тотчас же начинаю выдумывать всякие вещи, чтобы мне стало еще радостнее. Я недавно, например, прочла в одной старой книге слова «лазурная даль». И сказала себе: «Аю-Даг не в синей, а в лазурной дали». Или «лазоревой»? Я не знаю, как правильнее и лучше сказать. А потом я начинаю представлять себе, что карабкаюсь на его вершину, кругом цветет терн — белый, как маленький снег, а море качается далеко внизу и перебрасывает по обрывам отражения солнечного света. И мне хочется раствориться в этом черноморском свете и синеве, и даже хочется, если придется умирать, то умереть только здесь.

Девушка вдруг смутилась и замолчала.

— Глупо, должно быть,— сказала она.— Вы меня извините. И не смейтесь, пожалуйста, надо мной.

— Нет,— ответил писатель,— смеяться мы не будем, хотя вы и смешная. И очень милая. У меня такая же смешная и милая дочь. Вот когда вы выйдете замуж...

— Я никогда не выйду замуж! — запальчиво перебила его девушка.

— Все так говорят,— засмеялся писатель.— И вы тоже. Потому что еще не любили. Вам я завидую. Честное слово! Жестоко завидую. Как завидую человеку, который еще не читал «Евгения Онегина», но скоро прочтет. Вы читали «Гранатовый браслет» Куприна? Нет? Вот и прекрасно! Я много бы дал за то, чтобы следить за вами, когда вы будете читать этот изумительный рассказ. Следить за тем, как будут темнеть и наполняться слезами ваши глаза, как вы будете хмурить брови и кусать губы, как вдруг улыбнетесь и неслышный смех задрожит в вашем горле.

— Откуда вы знаете, что я так читаю хорошие книги?

— Моя дочь читает книги именно так! А любовь — настоящая, светлая и простая, как любой дикий цветок, как вот этот белый и скромный терн,— придет обязательно. Хотите вы этого или не хотите. Я знаю, что говорю.

— Как интересно с вами разговаривать! — сказала девушка.— Ну вот, нога у меня уже не так сильно болит. Я дойду теперь до Мисхора.

Но идти она еще не могла, во всяком случае, без палки. Тогда мы стали по бокам девушки, она обняла нас за плечи и, прихрамывая, а иногда и совсем поджимая ногу, начала потихоньку спускаться по шоссе.

Мы вели ее осторожно, как драгоценность. Да это и вправду была пыльная от крымского краснозема, застенчивая, с зелеными смущенными глазами живая драгоценность. Я, может быть, несколько выспренне подумал, что каждая пядь земли, куда ступала маленькая ее нога в тапочке, должна быть драгоценна для нас, стариков. К этой пяди теплой земли прикоснулась молодость — то, единственно ради чего мы жили и работали так много трудных и порой неблагодарных лет.

«Знает ли об этом молодежь? — думал я.— Знает ли эта девушка? Жизнь почти потеряла бы свой смысл, если бы молодость не знала работы старших поколений».

И девушка как будто догадалась, о чем я думаю. Поправляя руку у меня на плече, она осторожно прикоснулась ладонью к моей щеке, и в этом нечаянном прикосновении я вдруг почувствовал ласку. А может быть, мне это только показалось, как это часто со мной уже бывало. Я вспомнил строки Луговского: «Мне нужен сон глубокого наплыва, мне нужен ритм высокой частоты...» «Очевидно, в этом и скрыта настоящая мудрость житейских стремлений,— думал я.— Вот он — сон глубокого на-

плыва, голубизна воздушных масс, колебание тонкой мглы над пространствами моря, едва заметное дрожание первой звезды над гребнем гор». Я показал на нее девушке и пожилому писателю и, сам не знаю почему, сказал:

— Очевидно, это та звезда, чей луч осеребрил весенние долины.

Пожилой писатель ответил мне просто:

— Я люблю жить!

А девушка сказала, что сегодняшний день для нее — очень-очень хороший, хотя она еще сама толком не понимает почему.

Вот, собственно, и весь рассказ. В нем нет ничего поучительного, но, может быть, есть та единственная «песчинка», которая порадует людей хоть немного и заставит их улыбнуться, не отыскивая на сей раз в этом маленьком повествовании глубокого смысла.

*1959*

## АМФОРА

Несколько дней я прожил в болгарском рыбачьем порту Созополе, бывшей Аполлонии.

Там поэт Славчо Чернышев подарил мне греческую амфору. По его словам, амфоре было две с половиной тысячи лет. Созопольские рыбаки вытащили ее сетью с морского дна во время зимнего лова. Чернышев ходил тогда с рыбаками в море, и они отдали ему амфору в знак своего расположения к поэзии.

Когда амфору подняли из воды, она походила на большой шар, слепленный из раковин мидий. Но как только амфора начала высыхать, мидии стали отваливаться пластами и вскоре отвалились все. Тогда амфора предстала во всей своей стройности и чистоте. Но все же на слегка шершавой ее поверхности остался беловатый узор — следы отвалившихся мидий.

Славчо Чернышев говорил, что древние эллинские мореплаватели выбросили эту амфору за борт корабля во время свирепого греуса — черноморского норд-оста. Он бушевал и в те давние времена над Черным морем с такой же силой, как и сейчас. Чернышев называл греус «трагическим ветром».

Амфору выбросили в качестве жертвы, чтобы умилостивить бога морей Посейдона и остановить бурю. Она захватила корабль вдали от берегов. В таких случаях всегда бросали в море жертвенные амфоры с оливковым маслом.

О том, что амфора была жертвенная, свидетельствовала черная пленка окаменелого масла на ее дне.

Таким образом, древность амфоры была установлена. Чтобы окончательно убедиться в ее возрасте, Чернышев повел меня в заброшенную базилику. Там он вместе с созопольским художником Яни Хрисопулосом устраивал местный музей.

Пока что в музее были одни амфоры. Рыбаки время от времени вылавливали их и сдавали в музей. Но однообразие экспонатов ничуть не смущало ни Чернышева, ни Яни. Тем лучше! Не часто встречается на свете такое обширное собрание амфор разных веков и форм.

Изучение и сравнение амфор вызывало у художника и у поэта мысли о баснословных временах. Мифы, легенды, архаические предания легко рождались в присутствии этих амфор и переносили любителей-археологов в мглистую, плохо различимую даль истории.

К железному кольцу в дверях базилики кто-то привязал пожилого пыльного осла. Он не давал нам пройти. Чернышев хотел отвязать осла, но тот начал бессмысленно сопротивляться. При этом от него густо полетела рыжая шерсть. Мы долго возились с ослом, пока нам удалось оттащить его от дверей базилики и привязать к соседней акации.

Тогда прибежала запыхавшаяся хозяйка осла, старая Живка. И хотя осел уже нам не мешал, она все же подскочила к нему и громко ударила его сухой палкой по крупу. Осел зарыдал.

Мы вошли в гулкую базилику. В ней сохранилась прохлада,— должно быть, еще от прошлой зимы. Со сводов осыпалась крошечными лавинами известковая пыль.

Вдоль стен базилики и на алтаре стояли и лежали десятки амфор. Они располагались по возрасту. Века были помечены черной краской на стенах.

Чернышев подвел меня к группе амфор, таких же, как та, которую он мне подарил. То были амфоры-сестры. Он показал мне на цифру на стене: «2500 лет до нашей эры».

— Це-це! — сказала бабка Живка и на всякий случай перекрестилась.— Ты, Яни-сынок, постарайся поскорее их освятить.

— Это зачем? — недовольно спросил Яни.

— Тогда их можно будет отнести в нашу церковь к отцу Мавренскому вместо ваз для цветов.

Живка произнесла речь о скудости современного богослужения и удалилась. Мы остались одни.

Кусок осеннего неба за окном был таким струящимся и синим, будто снаружи еще сияло лето. Солнце, сливаясь с этой синевой, падало на амфоры и оживляло их.

Славчо Чернышев сказал, что амфоры похожи на молодых женщин. Очевидно, самую форму амфор древние гончары заимствовали у женского тела — узкого в талии и широкого в бедрах, уходящих книзу стройными смыкающимися линиями.

Мы вышли из базилики и сели на ступенях паперти. Мы сидели под солнцем и говорили о прошлом и будущем. Нам не хотелось двигаться. Невдалеке шумело прохладное море, окатывая с головой старые скалы. Кончался октябрь. И мы говорили о том, что чистое, почти священное ощущение земли, воздуха, неба, рощ и тихо шумящих морей, свойственное древней Элладе, нужно целиком взять себе для обогащения нашей культуры.

В таком, несколько лирическом состоянии мы пошли выпить кофе в портовую таверну. Она почему-то называлась «Казино».

В низком зале висела под потолком и слегка вертелась, как компас, высушенная лазоревая рыба — «морска лястовичка». Она должна была приносить счастье посетителям.

В «Казино» заседали обветренные до красноты созопольские «капитаны» — командиры рыболовных кораблей — гемий. Капитаны пили мозел — белое местное вино с легкой позолотой, крепкую водку — ракию, ели жареную ставриду — сафрит — и обменивались новостями.

За широким окном «Казино» виднелся по одну сторону чистый маленький порт, а по другую — часть города. Целиком весь город можно было увидеть только с самолета,— так неожиданно он был разбросан среди островов, скал, бухт и каменных мысов.

Город строился, должно быть, так, как рисуют дети. Они любят добавлять к готовому рисунку разные подробности. От этого рисунок запутывается, но вместе с тем делается очень живописным.

Созополь был похож на эти рисунки. В нем было множество всяческих переходов, поворотов, остатков византийских базилик, домов со вторыми этажами, нависающими над улицей на дубовых подпорках — эркерах, перил с балясинами, источенными временем до толщины свечи, обломков мраморных греческих колонн, пыльных маслин за низкими оградами и смоковниц с крупными шероховатыми листьями.

При описании Созополя придется еще раз сослаться на детей. Бывает, что дети, построив город из кубиков, вдруг смешивают из озорства все кубики вместе. Так выглядел и Созополь. Дома были тесно придвинуты друг к другу, и крыши кое-где цеплялись за соседние крыши. Улицы были вымощены каменными плитами, похожими на жернова,— звонкими и скользкими.

Нас пригласили в один из домов выпить кофе. Дом этот носил громкое название «Замок графини Елены Батиньоти» — по имени пожилой красивой гречанки, его владелицы. Но она была вовсе не графиня, а превосходная созопольская портниха. А замок был просто старым-престарым домом, просолившимся от морских ветров.

Чтобы описать этот дом подробно, надо потратить не менее

тридцати — сорока страниц. Но такие пространные описания немыслимы даже в самых раздражающе медленных романах. Поэтому придется рассказать об этом «замке» в общих чертах, помня, что он является как бы представителем многих созопольских домов.

Итак, это было прежде всего нагромождение коротких деревянных лестниц, мешающих друг другу. Куда они вели? В косые комнаты, в коридоры, в нижние полуподвальные кухни с очагами, на крошечные антресоли и еще в какие-то комнатушки, может быть в тайники.

Чтобы вернуться, например, на кухню за забытой солью (соль почему-то забывают чаще всего) и не ступать второй раз по своим следам (это считается дурной приметой), можно занести ногу через низкие перильца одной лестницы и переступить на другую — она тоже ведет в кухню, но откуда-то с чердака или с крыши.

Все эти лестницы почернели от старости, весь день скрипели сами по себе и пахли кипарисом.

Ходить по этим лестницам надо было осторожно, но не из-за их ветхости (они простоят еще сотню лет), а потому, что всюду на ступеньках стояли вазоны с цветами, главным образом с пеларгонией.

Столы, стулья, кресла, скамейки, диванчики, кровати и комоды были сдвинуты так тесно, что оставались только узкие проходы для людей.

Отовсюду неосторожному или близорукому гостю грозили ударом острые наросты на створках тяжелых розовых раковин с островов Меланезии или зеленоватые пики сухой иглы-рыбы.

Раковины лежали повсюду. Когда «графиня» Батиньоти уходила в город, то в тесных комнатах, очевидно, становилось слышно, как печально и тихо, вспоминая океан, гудят эти раковины.

Над раковинами висели пожелтевшие кружева, а в иных местах — гирлянды белых, как снежинки, цветов. Цветы спускались из глиняных плошек, подвешенных к потолку.

Удивительно, что сами плошки — жилища цветов совершенно походили на жилища созопольских людей. В старой садовой земле этих плошек виднелись поломанные клешни крабов и блестящие камешки. Тут же маленький цветок-приемыш вылезал из плошки и тянулся к солнцу.

Рядом с плошками висели модели гемий и ветряных мельниц. Еще недавно, в половине XIX века и даже позже, Созополь был опоясан по прибрежным скалам ветряными мельницами. Полотняные их крылья напоминали кливера.

В шкафах, столах и даже в деревянных стенах было множество ящиков. Один из них был случайно открыт, и я увидел там пучок маленьких птичьих перьев, связанных шерстинкой. Должно быть, это были перья колибри или попугая. Они пере-

ливались разными красками. Рядом с ними лежал оловянный наперсток.

Все жилище пропитал вечный запах кофе. Действительно, вечный. Он пережил века, поколения, гибель и возрождение государств, пиратские набеги и войны.

Кроме таких тесных и запутанных жилищ, есть в Созополе и другие — беленые пустые комнаты, где ветер качает на стене былинки лаванды. Это жилища одиноких старых рыбаков и рыбачьих вдов — суровые и скудные жилища на окраинах городка.

Да, но вернемся к созопольской таверне. Слово «таверна» итальянское. Оно означает небольшой кабачок.

Таверны до сих пор входят в романтический реквизит нашей действительности — старые таверны, где

...от заката до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Но созопольская таверна не такова — это шумное и уютное помещение, где можно сидеть до ночи за бутылкой вина или писать за столиком свободный роман.

Персонажи этого романа — капитаны гемий — присутствуют тут же. Они размеренно поют по-гречески, будто в такт ударам весел:

Капитане, капитане, хэмуэлла!
Ми агапинэ фортуна пуперна...

Чернышев перевел мне эту песню на русский, и я с изумлением узнал, что слово «фортуна», которое мы всегда понимали как «судьба», у греческих моряков означает «волна». Действительно, в волне очень часто заключена «фортуна» — судьба моряка.

В переводе эта песня звучала примерно так: «Днем и ночью капитан борется с морем и ищет успокоения в плаванье. Но как бы далеко он ни уплыл, его сердце крепко заякорено любовью на родном берегу. Руки его сжимают рукоятки штурвала, и корабль его летит, как гларус (буревестник)».

В «Казино» я познакомился с двумя капитанами гемий — Георгием Тумбатеровым и Георгием Каранковым.

Они медленно пили белое вино и почтительно, но с достоинством беседовали с Чернышевым и со мной о литературе. Они понимали ее как многоопытную направляющую руку хорошего человека — писателя — и как прославление человеческого мужества, особенно мужества людей моря.

«Вот, говорят, один американец написал книгу об одиноком старом рыбаке, которого меч-рыба таскала по океану несколько дней. Всякое бывает! У нас в соседнем городке Несебре тоже один старый рыбак попал этой зимой на своей старой лодке-«сеферке» в полный шторм и пропадал в море пять дней без еды. И тоже спасся».

Один из капитанов рассказал об удивительном случае в Созополе. Он рассказывал и улыбался — понимал, очевидно, что этот случай прямо создан для писателя. Он как бы дарил его нам.

В Созополе жил перед последней мировой войной богатый рыбопромышленник по имени Кристо. Рыбаки работали на его гемиях неохотно,— Кристо никогда не выплачивал вовремя заработанные деньги. Он всегда тянул. Как будто от этих оттяжек он становился богаче.

Однажды рыбаки даже пришли к дому Кристо с тяжелыми веслами и хотели избить его и разгромить его дом, если он тут же не заплатит им долг.

В конце последней войны, когда к Бургасу приближались советские войска, Кристо решил бежать в Турцию. В порту как раз остановился итальянский пароход. Он через несколько часов отходил в Стамбул.

Кристо перевез на него свои вещи, поручил одному из рыбаков сторожить оставленные гемии и напоследок зашел в «Казино».

Созопольцы были убеждены — и, кажется, совершенно справедливо,— что никто в мире не готовил такой крепкий, душистый и освежающий кофе, как тогдашний хозяин «Казино» — старый Дмитро. Моряки, побывавшие во всех странах света, утверждали, что это было именно так.

Недаром молчаливый Дмитро любил повторять, что «кофе — это большая работа».

Вскоре выражение Дмитро насчет кофе обошло весь город. Люди начали применять его к самым разным обстоятельствам жизни и говорили: «Семья — это большая работа», «Море — это большая работа» и даже «Вранье — это большая работа».

Так вот за полчаса до отвала парохода Кристо зашел в «Казино» выпить последнюю чашку кофе на родной земле. Дмитро старался и особенно долго готовил этот кофе. Кристо нервничал и торопил старика.

До отвала парохода осталось несколько минут. Пароход уже дал третий гудок. Пароконный извозчик ждал Кристо у дверей «Казино».

Кристо больше не мог тянуть. Он выбежал, сел в фаэтон, но в это время старый Дмитро догнал его с чашкой дымящегося кофе на подносе. Весь Созополь наполнился кофейным благоуханием.

Кристо не выдержал, взял с подноса чашку кофе, выпил его и бросил чашку о мостовую.

Но он, конечно, опоздал и увидел только грязную корму уходящего парохода и его истрепанный итальянский флаг.

Грузчики-«барабы» стояли толпой на молу и смотрели вслед пароходу.

Кристо крикнул им, что дает большие деньги — тысячу турец-

ких лир! — за то, чтобы они своим дружным криком остановили пароход.

Грузчики закричали раз, потом два, потом три. Но на пароходе не услышали этот крик. Пароход продолжал уходить, волоча по волнам жирный дым из старой трубы. На море уже спускался пронзительный вечер.

Кристо наотрез отказался заплатить грузчикам обещанную тысячу лир.

— Вы слишком тихо кричали, мерзавцы! — сказал он.— Вы нарочно тихо кричали, чтобы погубить меня. А еще просите денег, нахальные банабаки.

Кристо вернулся в «Казино», сел за стол, обхватил голову руками и заплакал. Так он сидел до тех пор, пока не вбежал смотритель порта и не крикнул, что за Масляным мысом полосой пронесся внезапный ураган, ударил дряхлый итальянский пароход о скалы, и тот пошел ко дну со всеми пассажирами и командой. Никто не спасся. Пассажиров было двести человек.

Кристо вскочил. Он бросился в порт. Грузчики еще не разошлись и, собравшись толпой, ругали Кристо иродом и иудой.

Кристо закричал им:

— Бравос, ребята!

Потом он швырнул им не тысячу, а две тысячи лир.

— За что? — спросили грузчики.

— За то, что вы тихо кричали,— ответил Кристо.— Хорошо кричали, банабаки! На пароходе не услышали вашего крика, и он не вернулся за мной. Из двухсот его пассажиров остался живым только я! Я один! Бравос, ребята!

И он снова захохотал как сумасшедший. Он позвал грузчиков в «Казино», угостил их вином и кофе и так радовался, что упал головой на стол и умер.

Грузчики сняли каскетки. Пришла, как всегда в таких случаях, полиция. На вопрос полицейского, отчего умер Кристо, самый старый грузчик ответил:

— От злой радости.

За окнами «Казино» в гладкой воде порта стояли у причалов белые гемии. Они держали равнение, подобно солдатам, и совершенно не шевелились.

Одна из этих гемий должна была через полчаса отойти на рыбачий стан у Масляного мыса, чтобы забрать улов.

Мы пошли на этой гемии на мыс. Он как бы плавал, а временами и совсем тонул в синем или, вернее, в лазоревом тумане и казался воздушным. Такими всегда возникают перед нами в солнечные дни легендарные мысы южных морей.

Всегда ждешь, что за этими мысами покажутся новые моря — небывалые по своему индиговому цвету и по громадам снеговых гор на берегах.

Горы отражаются в морской поверхности. Это создает живую игру морских волн и отражений. Вы никак не можете вспомнить: что же это за горы? Их как будто не было на карте. Но, всмотревшись, вы наконец догадываетесь, что это не горы, а многоярусные облака. И вы уже замечаете, что вершины этих облаков не совсем белые, а покрыты желтоватым налетом — теплым, мягким, предвещающим бесконечное лето. И где-то там, в их огромной облачной глубине, время от времени рождаются таинственный блеск и грохот.

Чуть качало. Над покатыми верхушками волн взлетали глянцевитые дельфины. Дрожание мачты переходило в звук, похожий на звон,— это звенела морская даль, а мачта только повторяла этот звук.

Гемия шла по свежей зыби, небрежно отшвыривая от себя полосы пены.

Из глубокой воды подымались шесты с прикрепленными к ним сетями. То были опасные и сложные ловушки-лабиринты для рыбы. Их насчитывалось несколько видов, этих лабиринтов, и назывались они у здешних берегов, так же как и у нас, тальянами и алломанами.

Я как-то упомянул об этих тальянах в небольшом очерке о болгарских рыбаках. Вскоре после напечатания этого очерка я получил письмо от молодого советского ученого, работавшего на нашем Севере.

Он писал, что на берегах Белого моря и Мурмана часто попадаются в полях причудливые лабиринты, сложенные из больших камней и похожие на гигантские чертежи. До сих пор происхождение этих лабиринтов остается тайной. Иные связывают их с какими-то религиозными обрядами, другие — с погребением умерших.

Молодой ученый долго изучал эти лабиринты и наконец догадался — то были наглядные каменные чертежи рыболовных лабиринтов. По этим чертежам одно поколение рыбаков за другим строило и ставило свои сети.

Вечен труд рыбаков, и потому в нем, в рыбацких навыках, есть что-то утвержденное столетиями, устойчивое, библейское.

Рыбацкий стан — низкий, вросший в землю дом из дикого камня, стоял на мысу и был открыт всем ветрам. Пожелтевшая трава шелестела вокруг. От седой полыни першило горло. Вдали подымались пологие холмы — отроги Балкан, отроги Планины. Цвет их был охряной, как шерсть верблюда.

На далеком склоне холма виднелся старец с посохом. Он сторожил большую отару овец.

Рыбаки, застенчивые и любезные, тотчас же начали жарить для нас «сафрид на шкара» — ставриду в собственном жиру.

Один из рыбаков был очень стар, сильно морщинист и бес-

конечно добродушен. Он рассказал мне обо всех ветрах, которые дуют на этих берегах.

— Рыбак,— сказал он,— всегда, даже во сне, должен знать, какой дует ветер. Пойдемте!

Он провел меня внутрь дома. В большой комнате — спальне — была корабельная чистота. Шест, на котором снаружи был прикреплен флюгер, проходил через крышу дома до самого пола. На полу он был укреплен таким образом, что легко вращался. На шесте в метре от пола был прилажен второй флюгер. Он показывал рыбакам даже ночью, какой дует ветер. Для этого не надо было выходить наружу. Стоило, проснувшись, открыть глаза и посмотреть на флюгер при свете керосинового фонаря.

— Хо! — сказал старик и засмеялся.— Мы живем двадцатый век. Мы тоже не отстаем от света.

Мы вернулись к очагу. Там сидели остальные рыбаки. Старик начал называть мне ветры.

У наших ног лежали косматые собаки — белая и рыжая. Глаза у них были прищурены, как и у рыбаков,— очевидно, от постоянного вглядывания в море.

Старик поднял сухую руку, обвязанную от ревматизма красной ниткой, показал на север и сказал:

— Драмудан!

В этом названии слышалась итальянская тремонтана — ветер, дующий с севера, через горы, через Альпы. У нас на Азовском море северный ветер тоже зовут «трамонтаном».

Старик показал на северо-восток. То был опасный, ненавистный рыбакам край горизонта.

— Греус! — сказал старик.

Греус — это наш норд-ост, наша бора. Ветер бешеный, беспощадный, мрачный, как предупреждение о смерти.

Так мы обошли со стариком весь горизонт. Он называл мне ветры и следил, чтобы я правильно записывал названия. Он требовал, чтобы я перечитывал ему эти названия, и отрицательно покачивал головой из стороны в сторону. Я смутился. Я забыл, что по-болгарски этот жест означает согласие и одобрение. Если же болгарин кивает головой сверху вниз, то это, наоборот, означает полное отрицание. Я долго не мог привыкнуть к этим жестам. Они были причиной нескольких легких недоразумений.

Юго-восточный ветер назывался «серекос». В наименовании этого сухого ветра узнаешь знакомое слово «сирокко». А летом этот ветер называется по-иному и притом так, что имя его вызывает невольную улыбку. Он знаком нам с детских лет, этот ветер, знаком еще по стихам Пушкина и потому кажется особенно милым. Летом этот ветер называется... «зефир».

— Зефиры очень мягкие, тихие, ласковые ветры,— сказал старый рыбак.— Зовут их также «мельтемиями». Они не бьют в лицо, как грубые ветры, а ласкают его, будто машут большими веерами.

Я подивился живучести некоторых слов. Зефир живет сотни лет, а вот борей давно умер. Причины этого не разгадает, видимо, ни один лингвист.

Ветер с северо-запада называется «маиструс». Не пришло ли сюда это название из далекого Прованса? Там по осеням и зимам дует знаменитый мистраль...

Мистраль качает ставни целый день.
Мороз, как соль, лежит по водоемам...

Восточный ветер называется «леванти», южный — «лодос», а западный — «боненти» или «караэл» («черный ветер»). Действительно, это большей частью сырой и теплый ветер, несущий обложные дожди и покрывающий землю сумраком.

— А как по-вашему «штиль»? — спросил я старика.

— Так и будет — «штил».

Он выговаривал это слово твердо, без мягкого знака.

— Но есть еще полный штил. Он называется у нас «бунаца лада». Тогда море тяжелое и гладкое, как оливковое масло... Как оливковое масло,— повторил старик и, заслонив ладонью глаза, посмотрел на холмы — последние отроги Балкан. Оттуда на нас двигалась, подымая пыль, огромная отара овец.

Старик усмехнулся.

— Старый пастух Иордан увидел, что у нас гости, и погнал сюда овец. Ему же надо взглянуть на вас и послушать, о чем мы говорим. Ему все надо!

Рыбаки снисходительно улыбнулись. Косматые собаки начали трястись от негодования и повизгивать.

— А ну! — крикнул на них начальник стана, кроткий низенький рыбак в артистически залатанных широких штанах. Он не успел сменить их по случаю нашего приезда. Собаки стихли.

Овцы неслись прямо на нас. Они были уже совсем близко. Вот-вот они должны были смять нас и собак и повалить треножник с жарящейся сафридой. Был слышен дробный гул овечьих копыт.

— Сидите,— сказал мне начальник стана.— Не беспокойтесь.

Старец Иордан что-то крикнул, и вся отара вдруг остановилась в двадцати шагах от нас, будто наткнулась на проволочное заграждение. Собаки только сипели и клокотали от сдерживаемой ярости.

А старый Иордан подошел к нам и торжественно обнес всех нас (иного выражения я не могу подобрать) своей черной сухой ладонью. Мы пожимали ее, а он бормотал что-то приветственное и внимательно смотрел нам в глаза.

Рыбаки подарили Иордану плетеную корзинку с недавно пойманными бычками. Бычки были мрачные и еще шевелили жабрами. По-болгарски бычки назывались «попчэ», то есть попы, монахи, именно за то, что они такие же сумрачно-черные, как болгарские священники.

Старик поблагодарил всех нас и что-то негромко крикнул овцам. Они, будто по команде «налево кругом», повернулись все сразу и помчались галопом к знакомому холму.

За овцами ринулись с остервенелым лаем дождавшиеся своего часа собаки. Вскоре пастух, собаки и овцы исчезли в пыли.

Мы еще долго сидели у очага и спокойно беседовали о рыбачьих делах. Из рассказов рыбаков выяснилось, что больше всего рыбы ловится при входе в Босфор. Потому что рыба идет весной из Средиземного моря в Черное, а осенью возвращается в Средиземное, и рыбьи косяки по мере приближения к Босфору сжимаются, густеют, превращаются в сплошные рыбьи реки. Как говорят рыбаки, рыба идет конусом. Поэтому весной и осенью рыбаки уходят к Босфору и ловят на самой границе турецких территориальных вод.

Старый рыбак рассказал, что за соседним мысом впадает в море река Ропотамо, как он выразился — «рай птиц и рыб». А дальше — граница Турции, желтая мгла над холмами, величавая синева Кара-Дениза (так по-турецки называется Черное море), далекая Эллада — родина крылатых гемий, быстролетных кораблей, что гоняются наперегонки с дельфинами среди бегущих волн.

Мы слушали старика и смотрели на юг. Там над морем на наших глазах совершалось медленное рождение облачного материка, небесной Атлантиды. Она была пронизана солнечными лучами, окутана сизым дымом и окрашена в розовый цвет старинного мрамора.

Из этой облачной Атлантиды вырастал и уходил к зениту, как волокно серебряной пряжи, след реактивного самолета. Высокие невидимые воздушные течения изгибали его, складывали в широкие круги, закручивали в тающие узлы и заставляли исчезать в ужасающей высоте.

На обратном пути мы трое — поэт Славчо Чернышев, прозаик Станислав Сивриев и я — разговорились о литературе.

Гемию качало. Пена вздымалась в уровень с бортами, таяла и кипела.

Разговор наш был мало похож на обыкновенные разговоры и споры о литературе. Началось с того, что Чернышев сказал, будто он избегает запоминать наизусть самые великолепные чужие стихи, чтобы не впасть в соблазн невольного подражания.

Чернышев был проницателен, добр. Глаза его, казалось, были полны сострадания ко всему, что заслуживает этого,— к растрепанному воробью, который отчаянно борется с бурей, чтобы долететь до своего гнезда, к цветку, расплющенному колесом мажары, к детям, играющим на улице у порога огромного взрослого мира.

Поэзия сопровождала Чернышева неотступно. Ее присутствие накладывало некоторый оттенок исключительности и серьез-

ности на все его слова и поступки. По натуре он был не только поэтом, но и таким же созопольским «капитаном» и моряком, как и Тумбатеров и все остальные. У него была даже своя шаланда «Доменика».

Созопольские капитаны говорили мало, но хранили в памяти многие куски жизни, известные только им,— будь то пожар закатного солнца над безбрежностью Эгейского моря или драка матросов из-за патефонной пластинки с записью увертюры «Кармен».

Они хранили в своей памяти многое, но все это рассказывал за них окружающим Славчо Чернышев — человек с душой мореплавателя, рыцаря и менестреля.

Сивриев был совершенно не похож на Чернышева. Их роднило только одно общее свойство — расположение к людям и страсть к скитальчеству.

Сивриев, бывший партизан, израненный на войне с немцами, человек реальных представлений, был непоколебим в своем бескорыстном восхищении подлинной литературой, в своей простой любви к ней. То была любовь бесповоротная, действительно пламенная. Ради литературы он, как солдат, в любую минуту мог броситься в штыковой бой против превосходящих сил противника.

Он часто вспоминал песни родопских горцев, песни своей прелестной родины, был строг в делах и нежен с любимыми, как ребенок.

Мы, конечно, не говорили о литературе в узком, почти профессиональном смысле, как у нас в последнее время повелось. Такой разговор был бы просто невозможен перед лицом моря, занявшего половину горизонта своей взволнованной синевой. Мы просто начали вспоминать отдельные, оборванные строки из разных поэтов. Чернышев неожиданно сказал: «Красивое имя — высокая честь!» Чернышев любил Михаила Светлова, настойчиво расспрашивал меня о нем, мечтал выпить когда-нибудь со Светловым «ясного» созопольского вина и поговорить о поэзии.

— Когда человек думает о поэзии,— сказал Чернышев,— то почти всегда вспоминает запавшие в сердце стихи. Они наполняют его тревогой и благоговением. В такие минуты человек чувствует собственный рост,— именно то, что не дано еще чувствовать растениям и животным.

Он помолчал и спросил меня:

— Какие стихи вы чаще всего вспоминаете?

Мне было трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я часто вспоминал многие стихи не только разных, но порой и враждебных друг другу поэтов. Это свойство смущало меня самого. К тому же я заметил, что в разное время память извлекает из своих тайников совершенно разные стихи.

Вот сейчас среди этого лиловеющего темного моря под куполом спокойного солнечного света мне вспомнилось сразу много

12*

стихов. Я не знал, что выбрать. В таких случаях надо отпустить поводья у своей памяти, как мы отпускаем поводья у коня на незнакомой опасной дороге.

Я целиком положился на память, и она принесла мне совсем недавно прочитанные стихи. Они очень подходили к созопольской жизни.

Скопление синиц здесь свищет на рассвете,
Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.
Здесь время не спешит, здесь собирают дети
Чабрец, траву степей, у неподвижных скал.

Это были стихи Заболоцкого, прекрасного и горестного поэта, умершего два года назад. Недавно еще я приходил к нему в провинциальный тарусский домик с бегонией на подоконнике. За распахнутым окном стояло легкое летнее небо в пышно сбитой облачной пене и спокойно дожидалось вечера.

Я рассказал Чернышеву и Сивриеву о Заболоцком. Я вспомнил о нем и вдруг понял, что воспоминания не считаются ни с временем, ни с пространством. Кто знает, где в это время кто-то другой вспоминал о Заболоцком? Может быть, в дождливый вечер где-нибудь в Каргополе, а может быть, у окна поезда, рассекающего дымные дали херсонских степей.

Остальную часть пути мы молчали. Каждый думал о чем-то своем.

Рыбаки несли на плечах свернутую коричневую сеть длиной, должно быть, метров в двести.

Улицы городка были кривые, короткие, угловатые и удивляли приезжих своими неожиданными поворотами. Поэтому сеть, как удав переползавшая по городу, остановила все движение. Оно было почти целиком пешеходное. Машины не любили заходить в Созополь. Им негде было развернуться в этой тесноте.

Мы остановились, чтобы пропустить сеть.

Буревестники (гларусы) низко проплывали над сетью и недовольно покрикивали. Они привыкли выклевывать из мокрых сетей мелкую рыбешку и скарид-креветок, а теперь сеть уносили, и это беспокоило буревестников.

Переноска сети походила на медлительный и чопорный танец. Дети бежали рядом и держались за ее теплые тонкие нити. И снова, привязанный к дверям базилики, пожилой пыльный и упрямый осел бабки Живки, увидев сеть, начал в ужасе пятиться и рыдать.

В ответ ему зарыдали все ослы в Созополе, засмеялись рыбаки и, покачиваясь, запели знакомую песню:

Капитане, капитане, хэмуэлла!
Ми агапинэ фортуна пуперна...

Мы встретили в толпе молодого болгарского кинорежиссера

Волчанова, талантливого и решительного человека. Он сказал, что хорошо бы начать кинофильм с этой сети, плывущей, извиваясь, через древний город. Он уже видел, как это будет выглядеть на экране, и даже кричал рыбакам:

— Шаг на месте на поворотах! Шаг на месте!

Но рыбаки и без этого напоминания замедляли шаг и временами целую минуту топали ногами, не двигаясь, чтобы дать передним осторожно пронести сеть за крутой поворот. После короткой заминки сеть снова размашистым шагом двигалась вперед, и возникала вторая строфа рыбачьей песни:

Ми нафинис стезоисо ми капелла
Тетемони тезоис накиверна!

Рыбаки пронесли сеть, и снова тишина и пустынное небо воцарились над городком. Только около так называемой «Виллы писателей» (маленького двухэтажного дома, где мы жили) продолжал восторженно кричать осел Панчо, приятель осла бабки Живки.

Печальная история осла нам была уже известна. Мы, конечно, сочувственно относились к злоключениям Панчо.

Дело в том, что он сбил себе подковой бабку на ноге и хозяин привязал его, пока бабка не заживет, к дереву на сухом холме около «Виллы писателей».

И вот Панчо невольно превратился в добросовестного городского глашатая. Панчо было скучно стоять без дела на пустом холме и смотреть на море. Сколько ни смотри, хоть тысячу лет, а оно всегда будет большим и не сдвинется с места. Поэтому Панчо придумал себе развлечение — он приветствовал оглушительными криками все события, выходившие за рамки созопольского однообразия: появление красного автобуса из Бургаса, мажару, скачущую несвойственным ей галопом, сивых быков с лирообразными рогами и глазами такими синими и влажными, что им могли бы позавидовать женщины, тяжелый, как жук, самолет, летевший из-за гор в сторону Дуная,— одним словом, каждое событие в городе, независимо от того, значительно оно или ничтожно.

Когда Панчо долго не кричал, какое-то непонятное беспокойство закрадывалось в сердце.

Если же Панчо кричал слишком сильно, то застенчивый и вежливый маленький пес при «Вилле писателей» Боба смущался и начинал извиняться за осла. Боба подползал к нашим ногам и пылил хвостом. Очевидно, Боба считал крики Панчо невежливыми и даже неприличными, особенно по отношению к русским гостям.

На молу, у самого его основания, стоял маленький дом. Жил в этом доме корабельный мастер, приятель Чернышева.

Мы пошли к нему однажды вечером. Когда мастер открыл нам дверь, свет из комнаты упал полосой в шумную темноту и осветил волны, бившие о мол. Они казались серыми от пены.

В доме пылали лампы (это выражение можно вполне применить и к электрическим лампам, а не только к керосиновым). На столе лежал желтоватый холодный виноград. Плющ за окном качался от ветра, и тени от его листьев бегали по полкам с книгами. Бутылки с белым вином чуть поблескивали на столе, как бы улыбаясь гостям. Гостей собралось довольно много. Пришли режиссер Волчанов, молоденькая, страшно застенчивая киноактриса и несколько рыбаков — родственников мастера.

От света, тепла, от того, что рядом с дверью гремел тысячами тонн воды настойчивый прибой, а иной раз до окон долетали брызги, в доме казалось особенно уютно и тепло.

Мы пили, пели и болтали. Только мастер молчал и улыбался, прислушиваясь к общему говору.

И еще один человек молчал — молоденькая киноактриса. Она сидела, опустив глаза. Плечи ее слегка вздрагивали при сильных ударах волн. Голубая жилка проступала у нее на влажном виске, глаза были спрятаны за опущенными ресницами.

Ее попросили спеть. Она кивнула головой, как будто проглотила слезы, и запела тихо, почти речитативом, английскую песенку о Мэри.

Я неясно понимал содержание этой песенки, но почему-то был уверен, что это стихотворение «Мэри» Александра Блока, переведенное на английский язык.

Вон о той звезде далекой,
Мэри, спой.
Спой о жизни, одиноко
Прожитой...
Тихо пой у старой двери,
Нежной песне мы поверим.
Погрустим с тобою, Мэри.

Девушка замолчала, прикрыла веки, и на них блеснула слеза. Молчали и мы. Глухо и тяжело жаловалось море. Потом режиссер и Сивриев во весь голос запели болгарские песни. Звякнули стаканы, в лицо пахнуло терпким вином, и прибой, словно подчиняясь общему настроению, широко, но как бы вполголоса, раскатился по молу во всю его длину.

Я благословил в душе этот простой вечер в чужой стране, благословил заодно и скитания, полные светлых случайностей, таких, как эта тихая песня.

Я был уверен, что девушка пела о любимом. Я, конечно, давно знал, что каждому возрасту даны свои печали и радости и что для людей моего поколения девичьи слезы давно ушли в туманную даль, а может быть, и совсем иссякли. И мне захотелось склониться перед этими почти детскими слезами, как перед маленькой святыней.

Когда мы вышли, порт был сильно освещен неоновыми фонарями. Начинался ветер. Он качал этот свет, и в его мигающем блеске отчаливали и уходили в море одна за другой белые безмолвные гемии.

Мы долго шли по спящим улицам Созополя. Узкие эти улицы звенели и гремели от наших шагов. И отовсюду — из каждого дома, двора, из каждой руины и переулка — бежало навстречу нам эхо.

Неожиданно молоденькая киноактриса засмеялась и звонко крикнула какое-то слово. Эхо тотчас удесятерило его и вернуло нам. Девушка крикнула по-болгарски: «Где мы?» И тотчас все дома, закоулки и камни мостовой повторили, перекликаясь, ее крик и спрашивали уже нас, людей: «Где мы?»

Неоновый свет в порту погас. Темнота усиливалась с каждой минутой. Казалось, ветер смешал этой ночью мрак всех времен — от древней и тяжкой Византии до нашего бурного века — и старается нас напугать.

Только когда мы пересекали переулки, идущие к морю, вдали открывался мигающий багровый свет маяка. И было почему-то страшно за маленькие рыболовные гемии, ушедшие в эту ночь.

На следующий день я уезжал из Созополя. Я прожил в нем всего пять дней, но этого оказалось достаточно, чтобы полюбить этот город.

С дальнего холма я увидел, как в последний раз синим крылом махнуло Черное море. Скромная и прекрасная болгарская земля вскоре ушла в туманы, в дожди. Погода переломилась. Дождь шел до самой границы.

Амфора стоит сейчас у меня в Москве среди книг. У всех, кто ее рассматривает, она вызывает прежде всего мысли об Одиссее и Эгейском море. У некоторых веселые, как в стихах Заболоцкого:

Шумело Эгейское море,
Коварный туманился вал.
Скиталец в пернатом уборе
Лежал на корме и дремал...

У других — торжественные, проступающие из гомеровской мглы, как у Луговского:

Гребите, греки! Есть еще в Элладе
Огонь, и меч, и песня, и любовь...

Что касается меня, то при взгляде на амфору я представляю себе гончарную мастерскую на скалистом берегу Аттики, синий воздух, старого гончара, шлифующего сырую глиняную вазу. Я вижу, как в простом этом мире, на щебенчатой земле, под нестерпимый блеск моря рождается скромная амфора. Но создатель ее не знает, что совершенство ее формы переживет века и наполнит нас, потомков, гордостью и удивлением перед талантливостью человека.

*1961*

# ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАПИСИ

К этому человек, должно быть, никогда не привыкнет — остановить такси в березовой роще под Москвой, выйти, чтобы послушать в последний раз, как шумит по деревьям дождь, через тридцать — сорок минут сесть в реактивный самолет и, спустя пять часов, выйти на жарком аэродроме итальянского города Турина. Об этом городе ты ни разу в жизни не думал и почти ничего о нем не знаешь, кроме того, что Турин — бывшая столица Сардинского королевства. Так, по крайней мере, нас учили в гимназии.

Но до Турина была еще Прага, был черепичный Цюрих среди плавных альпийских предгорий, были Альпы — сплошное курчавое море облаков, лишь в одном месте разорванное снеговой пирамидой Монблана. Потом самолет качнуло над озером Комо, а Милан встретил нас знойным порывистым ветром.

От Милана до Турина мы летели над сочной и плоской Ломбардией на удивительно милом самолете. У нас это сооружение назвали бы, очевидно, «самолетом районного значения».

В тесноватую кабину набилось много народу. То были преимущественно крестьяне со своей деревенской поклажей. Один старик даже вез в корзине огненного петуха. Вид у петуха был наглый, а у его хозяина — испуганный. Старик, должно быть, боялся, что петух запоет.

Женщины тараторили с необыкновенной быстротой и что-то вязали. Через пять минут после отлета мужчины закурили, достали бутылки с вином и начали перекидываться в кости.

В кабине пахло кофе и почему-то сеном. Мы пролетали над Новарой. Мне было приятно думать, что в самолет проникает запах новарских цветущих полей. На самом деле это было, конечно, не так.

Стюардесса, вопреки обыкновению, не виляла модными бедрами по проходу между пассажирами, а продиралась, засучив рукава, с чашками кофе, нанизанными на пальцы.

Это была не обычная стильная стюардесса с улыбчивыми глазами, а простая краснощекая девушка с реки По, с тучных полей, убегавших под крылья машины.

Самолет походил на дилижанс. Он раскачивался на воздушных ямах, как на ухабах.

* * *

В Турин мы прилетели на конгресс Европейского сообщества писателей. Конгресс был созван в связи с очередной годовщиной объединения Италии. Объединение произошло в Турине. Поэтому и конгресс собрался в этом городе.

На аэродроме в Турине нас встретил маленький стройный человек, весь серебряный от ровной седины. Седой человек оказался сотрудником Европейского сообщества писателей. Звали его Альдо Леви. Он был отставным адмиралом итальянского флота.

Редко я встречал людей таких внимательных, сердечных и исполнительных до последней мелочи, как этот адмирал-еврей. По этой последней причине он был вынужден при Муссолини скрываться в лесах Сицилии.

Адмирал свободно владел почти всеми европейскими языками, изъездил весь мир, и потому мы были тронуты тем, как охотно он тратил уйму сил и времени на то, чтобы исполнить каждое наше желание, даже если оно с точки зрения положительного человека могло показаться наивным и легкомысленным.

Был такой случай. Перед поездкой я достал в Москве планы Милана и Турина. Как-то вечером моя дочь — молодая женщина, которой были свойственны веселые поступки,— взяла карандаш, закрыла глаза, опустила острие карандаша на план Турина и сказала:

— Вот это место ты сними обязательно! И вот это — тоже. И это. И привези снимки!

Она поставила несколько точек на планах Турина и Милана.

В Милане ей повезло — кончик карандаша попал на великолепный дворец Сфорца, а в Турине, наоборот,— на тюрьму и кавалерийские казармы.

На второй день после приезда в Турин, когда мы ехали

на конгресс в низкой машине, как бы навсегда присевшей для прыжка, я, смеясь, рассказал об этом адмиралу Леви. Адмирал необыкновенно взволновался и обрадовался. Обрадовался и шофер. До них обоих «дошла» эта выдумка. Они оба сочли ее весьма интересной и даже поэтичной.

Пока я сидел в зале конгресса, адмирал изучал с шофером мой план города с отмеченными местами.

Тотчас после заседания мы сели в машину и помчались по улицам, пестрым от обилия цветов и разноцветных тентов над кофейнями. Мы мчались к тюрьме и казармам. Адмирал беспокоился. Он считал мой план Турина устаревшим и боялся, что теперь на месте тюрьмы и казарм уже выстроены новые дома.

Но нам повезло. Все было цело. Я снял тюрьму с распятием на воротах и снял казарму, где у входа стояли строгие часовые. Адмирал попросил, чтобы я снял отдельно и этих красавцев часовых. Они были очень польщены и позировали так торжественно, будто стояли в почетном карауле у дворца самого президента.

Вся улица играла от ветра и солнца. И все мы, включая солдат, были очень довольны этим небольшим происшествием.

Во время пребывания в Турине мы жили не в городе — слишком жарком,— а в нескольких километрах к западу от него, в лесистых и прохладных предгорьях Пьемонтских Альп, в местности под названием «Эремо». Там к старому католическому монастырю его владельцы пристроили недавно гостиницу. Называлась она «Резиденция Романья».

Кажется, мы, писатели разных европейских стран, были первыми жильцами этой гостиницы — пустой, светлой, гулкой и очень тихой.

За окнами моей комнаты по свежему зеленому склону тянулись кудрявые фруктовые сады. Крестьяне косили между деревьев траву. Запах сена наполнял все комнаты гостиницы. Он был более острым и терпким, чем запах нашего русского сена. Должно быть, в этом итальянском сене было много пряных и горьковатых горных цветов.

С Пьемонтских Альп все время налетал легкий ветер. Шумели вековые каштаны. На старой кампанилле у моего окна время от времени дребезжал колокол. Где-то поблизости вдохновенно рыдали ослы.

По утрам меня будило пение молодых монахинь. Они парами шли под моим окном в соседнюю церковь. Увидев меня, они опускали головы и начинали петь громче.

Невдалеке от «Резиденции Романьи» на обочине пустынного шоссе скрывался под тенью ореховых деревьев маленький «ристоранте». Я часто ходил туда пить кофе и долго просижи-

вал за столиком во дворе «ристоранте», разглядывая прохожих, пыльные машины, студентов, проносившихся на мотороллерах вместе со своими подругами, и полицейских с белыми портупеями через плечо. В чужой стране это занятие было увлекательным.

Каждый раз ко мне подходил маленький ворсистый ослик с колокольчиком на шее. Он долго стоял, навалившись на меня всем телом, и дожидался сахара. Время от времени он хлопал меня по руке пыльным ухом. То ли он напоминал мне о своем существовании, то ли отгонял мух. Во всяком случае, он хлопал ушами очень часто и постукивал при этом копытцами.

Однажды ослик не рассчитал расстояния, ударил ухом по чашке кофе на столике, перевернул ее и облил скатерть и мои брюки. На ослика это не произвело никакого впечатления, но хозяйка «ристоранте» страшно раскричалась и обрушила на голову ослика жестокие проклятья.

Через некоторое время я узнал, что этот безмятежный «ристоранте» был местом тяжелой драмы. В нем застрелился прекрасный итальянский писатель Павэзэ — человек, измученный войной, благородный и непримиримый.

В последние годы жизни его преследовала мысль, что ни один человек не может до конца понять другого и не может быть понят этим другим. То была драма человека сложного, тонкого, встревоженного жизнью и бессильем слов для выражения своего внутреннего мира. Все мы знаем в той или иной мере это бессилие, все проходили через это испытание. Но Павэзэ не мог его вынести и так и ушел из жизни непонятым.

Турин — автомобильная столица Италии. В нем расположен грандиозный завод «Фиат».

Это, конечно, не просто завод. Это самостоятельное государство со многими учреждениями и свойствами суверенной страны.

Завод нельзя обойти. Его можно только объехать на машине, но и это займет много часов. Объехать на машине все огромные, теряющиеся в дымке цеха, где работу выдает только тихий гул автоматов. Да и весь завод с его инженерами и рабочими — сплошной исполинский автомат.

Недаром директор завода синьор Валетта похож на конквистадора времен покорения Америки. Это — низенький молчаливый человек с железными глазами, рассчитавший, очевидно, всю свою жизнь по секундам. Он холодно и несколько принужденно вежлив.

Он подарил нам патефонные пластинки с записью песенки, сочиненной каким-то поэтом «для завода «Фиат». Передавая нам эти пластинки, синьор Валетта снисходительно улыбался.

Он как бы хотел сказать, что вот, мол, приходится ради рекламы мириться даже с поэзией и музыкой, хотя совершенно ясно, что это занятие преимущественно для бездельников.

После закрытия конгресса в старинном ресторане-дворце среди тенистого парка был устроен для делегатов прощальный ужин.

Ужин этот на целых два часа как бы перенес нас в обстановку восемнадцатого века.

Случилось это потому, что над Турином в тот вечер прошла грохочущая гроза. В городе погас свет. Вспышки бенгальского небесного огня вырывали из мрака то длинные массивные колоннады на Пьяцца Кастелло, то конные статуи героев и королей, то перевернутые ветром столики кафе, летящие вдоль улиц салфетки, битое стекло и листья каштанов.

Пышные залы дворца-ресторана погрузились во мрак. Ветер распахнул окна. Блеск молний безнаказанно метался по старинным картинам, серебрёной мебели и встревоженным лицам гостей.

В парке за окнами трещали сучья деревьев и водопадом низвергался ливень.

Я сидел у окна с чешской писательницей Майеровой — мужественной и бесконечно доброй женщиной. Несмотря на возраст и болезнь, она приехала в Турин из Праги на машине.

Мы говорили о молодых чешских и русских писателях, о том, что им надо дать возможность поездить как следует хотя бы по Европе.

— Писательство,— сказала Майерова,— это знание. А знание дает человеку, в числе других качеств, способность к бесконечному разнообразию ощущений. Даже гроза здесь, в Турине, ощущается не так, как в Карловых Варах. Хотя бы потому, что мы знаем о множестве вековых ореховых деревьев, окружающих Турин. Поэтому все время чудится запах ореховых листьев, промокших от дождя.

Электричество погасло надолго. Кельнеры начали зажигать свечи в старых позванивающих люстрах и канделябрах.

Трепетание теней и дрожащие язычки огня сразу перенесли нас на два столетия назад. Даже лица писателей — депутатов конгресса — стали какими-то таинственными и более выразительными.

Из Турина я уехал на крайний северо-запад Италии, в бывшее герцогство Аосту.

Десять дней, проведенных в свежей и нежной долине Аосты у подножья величайших альпийских вершин Монблана, Маттергорна и Монте-Розы, прочно оторвали меня от городской жизни.

Тишина стояла до самых вершин гор и еще выше — до бледного от снегов высокого неба. Только ветер, хлопавший створками жалюзи в окнах гостиницы, и сонный рокот реки Дора́ нарушали эту тишину. Да еще голоса детей.

В долине Аосты я жил в маленьком городке Сен-Висенте — типичном не итальянском, а французском провинциальном городке. Рядом была Савойя.

К вечеру на главной улице собирались жители городка, чтобы попить кофе за крошечными столиками на узеньких тротуарах, посудачить и посмотреть на приезжих.

А посмотреть стоило. Через городок в сторону Альп проносились, приседая, машины — длинные, низкие, бесшумные, сверкающие ослепительными лаками всех возможных цветов.

В машинах сидели люди, одетые ярко и пестро, как попугаи, преимущественно во все красное или во все желтое. Это были альпинисты. Такие яркие костюмы они носили, чтобы их легче было найти в случае несчастья на горных снегах и глетчерах. Красный и желтый цвета видны очень далеко. Даже лыжи у альпинистов были ярких цветов — зеленые, оранжевые, красные и черные.

По узкой улице проносились машины с альпинистами и бегали с озабоченными мордами одни и те же добродушные псы. Через три дня я уже знал всех их в лицо.

В Сен-Висенте я жил в гостинице «Биллия». В ней останавливались, главным образом, миланские купцы, миллионеры и крупные игроки.

Рядом с гостиницей расположилось казино с рулеткой и другими азартными играми. Рулетка эта была, кажется, единственной в Италии.

Казино соединялось с гостиницей подземным ходом. На его мраморных стенах висели картины новейших художников.

Впервые я столкнулся с теми, кого мы называем капиталистами. Я наблюдал их в казино, ресторанах, ночном кафе, в обширных холлах гостиницы и на улицах городка.

В большинстве своем это были скучные и надменные люди с дурными манерами. Любой носильщик, кондуктор пульмана или чистильщик сапог вел себя с гораздо большей непринужденностью и достоинством.

Собственно, ничего не изменилось с тех пор, как Бунин написал своего «Господина из Сан-Франциско».

Та же холодная пустота расчетливого ума, вера во всемогущество доллара и лиры, надменность и стандартное модное веселье или, вернее, погоня за тем, что должно было бы быть весельем, но никогда им не бывает. Веселье рекламируется, как кока-кола. А какое же истинное веселье нуждается в рекламе!

Особенно резко бросалось в глаза это принужденное веселье в ночном кафе, где дочери и жены миллионеров и мультимиллионеров танцевали в красном дразнящем полумраке с наемными

партнерами. То были смазливые и хищные юноши с ослепительными проборами и искусственно бледными лицами. Некоторые из них гримировались под «битников» — грязноватых, неуклюжих и развязных.

По-настоящему миллионеры оживлялись только в казино за столами с рулеткой.

Казино — это сиреневый туман сигарет, сквозь который проступает витиеватое золото люстр и светятся драгоценные камни на пальцах и шеях женщин. Почему-то все эти камни кажутся здесь фальшивыми. Может быть, потому, что молодые женщины (за редкими исключениями) избегают бывать в казино, а за игорными столами рядом с мужчинами сидят пожилые женщины и старухи с дряблой кожей.

Чаще всего в казино я видел именно старух. Иногда они комкали платки и плакали. Зрелище дряхлой плачущей женщины невыносимо. Даже крупье отводили от них глаза.

То обстоятельство, что в казино я почти не встречал молодых женщин, вызвало у меня внезапный прилив благодарности к ним. Очевидно, свежесть, девичество, изящество несовместимы с залами, где жадность и азарт людей и порожденное ими низменное волнение приобрели чисто внешнее отталкивающее выражение.

Казино — это глухой гул людской толпы. В казино не разговаривают, но волнуются. И вот оказывается, это безмолвное человеческое волнение порождает тревожный и незатихающий шум.

Этот гул прорезают лишь беспощадные и бесстрастные возгласы крупье: «Ставок больше нет!» После этого возгласа только быстро жужжит, подскакивая, шарик и тотчас происходит стремительная и почти незаметная выдача выигрышей.

Крупье работают, как лучшие в мире фокусники и жонглеры. Их движения точны и четки. Они должны помнить все ставки и никогда не ошибаться. Они должны чуть показывать зубы в деланной улыбке и не спускать глаз с рук игроков. Это — адская по напряжению работа, и потому крупье меняются каждые два часа.

В трехстах метрах от дымного и бессонного казино пустынная дорога выводила меня сквозь заросли в долину. Там пенилась река, озерами цвели анемоны, пели птицы, стояли на перекрестках молоденькие каменные мадонны и кто-то клал к их ногам охапки свежей травы. В дощатой таверне веселый мальчик наливал мне в толстый стакан густого сицилийского вина, а старая мохнатая собака приносила в зубах все одну и ту же вчерашнюю измятую газету.

Вдоль реки,— вернее, не реки, а потока бешеной пышной пены,— по едва заметной тропе среди скал я добирался до римского моста.

Вокруг не было ни души. Река кипела под ветхим настилом. Вблизи на скале стоял старый замок. Его двор зарос выгоревшей травой. На стене сохранилась бледная фреска. На ней рыцарь помогал подняться с земли молодой женщине с печальным и нежным лицом.

Леса вокруг источали бальзамический воздух. Старый пастух заходил во двор замка и, присев на ступеньку, ел хлеб с сыром и запивал свой завтрак вином из глиняной фляги. Своих овец пастух оставлял за стеной замка.

В узкую калитку вместе с пастухом всегда протискивался, боясь отстать от хозяина, невероятно лохматый пес необычного розового цвета.

Пастух всегда садился рядом со мной, а пес ложился вдалеке, у самой калитки, не решаясь подойти ближе. Оттуда он смотрел на меня смеющимися глазами и, заигрывая, отмахивался от меня лапой. Потом, осмелев, он начинал медленно подползать ко мне, вежливо брал мою руку в свою жаркую пасть, чуть прикусывал ее, но тотчас отпускал, растягивался у моих ног и начинал старательно подметать хвостом каменные плиты двора.

— Он играет с вами,— говорил пастух, мешая французский и итальянский.— Прочь, Волкано! Не пыли в лицо синьору.

Этого пастуха я встречал в замке три раза. И каждый раз он с такой радостью угощал меня вином, что я не мог отказаться и улыбкой благодарил его.

Пастух уходил, а я ложился на сухую траву. От каменных стен замка тянуло тысячелетней теплотой.

Я долго лежал, глядя в небо Италии с летучими облаками, которые так легко и точно умели писать художники Возрождения. От облаков исходил на землю мирный свет и тишина.

Бо́льшую часть своего времени в Сен-Висенте я так и проводил у римского моста и в замке. Я с неохотой возвращался в «Биллию», ощущая как оскорбление те поспешные и низкие поклоны, которые отвешивали мне привратники и мальчики-лифтеры. Я ощущал эти поклоны как оскорбление именно потому, что все эти люди так же кланялись миллионерам и игрокам и, может быть, принимали и меня за представителя этой пустой породы людей.

Но как только уборщица Романья — ясноглазая и смешливая уроженка Пармы — узнала, что я русский из Москвы, тотчас все изменилось. Со мной здоровались радостно и почтительно и начали протягивать мне по-дружески руку.

Альпы синели и дымились совсем недалеко. Но чтобы подойти к ним, как говорится, «на вытянутую руку», надо было поехать в ближайший альпийский поселок Червинию.

Дорога туда живописна и вместе с тем однообразна, как все красивые горные дороги.

В горных странах — у нас ли на Кавказе, в Карпатах, в Апеннинах или на Балканах — красоты часто повторяются. Крутые повороты, мосты, синеватый дым над долинами, сосны на скалах, исполинские зубцы, присыпанные снегом,— все это есть в любой горной стране. Не повторяются только люди и постройки. Здесь разворот огромный — от дагестанских аулов и деревянных ступенчатых изб в Татрах до швейцарских шале — уютных и пылающих изо всех окон и балконов традиционной геранью.

Автобус-пульман шел осторожно, все время покрикивая. Его крики повторяло со всех сторон печальное эхо.

С каждым поворотом становилось холоднее. Бешено мчались по обочинам серо-зеленые ручьи, взбивая пену. Горы делались круче, зловещее, чернее.

Кое-где у дороги стояли «альберго» — маленькие гостиницы для туристов, все в рекламах вермута и джина.

Потом перед нами открылся отвесный, уходящий в небо, совершенно голый склон без единого деревца и кустика. По нему десятками белых растрепанных ветром нитей падали с высоты тонкие водопады. Они лились почти вплотную один около другого. Их отделяло друг от друга расстояние не больше чем в три-четыре метра. Это делало склон горы похожим на те тяжелые занавеси из стеклянных нитей, какие часто встречаются в тавернах на окраинах Рима и Афин.

Червиния оказалась поселком довольно угрюмым. Стены гор скрадывали свет. Его явно не хватало для полного освещения городка.

В Червинии множество горных проводников. Они очень театральны в своих фетровых шляпах, со связками капроновых канатов на плечах и с блестящими ледорубами.

Из холодного кафе я долго смотрел на пропасти Маттергорна в сером снегу. Около одного крутого гребня горы была видна оранжевая черточка,— это, очевидно, шли альпинисты.

Рыжая девушка подала мне кофе, села рядом и начала читать какой-то роман в заманчивой обложке. Изредка она щелкала языком, неодобрительно качала головой и что-то говорила мне быстро и убежденно. Я, конечно, ничего не мог ей ответить. Так и не дождавшись ответа, она с осуждением похлопала меня по руке, лежавшей на столе, как бы говоря: «Эх ты, дурачок, дурачок!» Потом обняла меня за плечи, засмеялась и ушла за стойку. Там она снова принялась за свой роман.

Лились за окнами водопады. Когда кто-нибудь открывал дверь в кафе, я прислушивался. Я ждал, что услышу шум этих десятков водопадов. Но они лились в полной тишине.

Над Маттергорном уже клубилась мгла. Там начиналась метель. Я видел через окно, как женщины на улице закутывали головы теплыми платками.

Я достал блокнот с изображением Миланского собора и начал писать письмо в Тарусу,— именно в Тарусу, а не в Москву.

Я вспомнил, ка́к стоят над Окой летние розовеющие облака. Исполинский Маттергорн с его смертоносными лавинами показался мне грозным и неуютным. Я подумал о том, что ни за что не полез бы на его клыкастую вершину. Очевидно, я человек долин, лесов, мягких линий горизонта. Горы больше всего привлекают меня в виде громад и башен кучевых облаков.

Из Сен-Висента я ездил на один день в Милан — посмотреть «Тайную вечерю» Леонардо.

Это случилось — именно случилось — в сумрачном и пустом зале монастырской трапезной при церкви Санта-Мария делле Грацие.

Писать о «Тайной вечере» невозможно. Она производит впечатление чуда. Это впечатление остается на всю жизнь.

Ее можно или принять сразу и безвозвратно, как событие твоей собственной жизни, или остаться холодным и поторопиться выйти из трапезной на жгучую и переполненную светом улицу. Так и было с несколькими посетителями.

Фреска покрыта, как все драгоценные и старинные вещи, легким тускловатым налетом. Она просвечивает через него, как через слой теплой воды.

Я часто слышал слова: «Увидеть Неаполь — и умереть» или «Увидеть «Вечерю» Леонардо — и умереть!»

Эти слова, конечно,— выражение неудержимого пафоса, но и по сути своей они неверны.

После встречи с «Тайной вечерей», как и со всяким великим произведением искусства, хочется не умереть, а жить,— жить, если бы это было возможно, без утомления, без ущерба, чтобы увидеть всю красоту мира во всех ее выражениях — от красной крымской земли до картин Ван-Гога и от лилового Эгейского моря до белой зари над Олонцом.

Я не стесняюсь высказать эту простую мысль. Я чувствую наследие предков, их стремление к совершенству жизни. В Милане я прикоснулся к стенам театра Ла Скала с нежностью лишь потому, что эти стены видели прекраснейших людей. Прежде всего Байрона и Стендаля.

Но я дотронулся не только до стены театра Ла Скала. Возвратившись из Милана в Сен-Висент, я с благодарностью дотронулся до пыльного кузова пульмана, возившего меня в Милан, и пожал руку загорелому и спокойному водителю Нино.

Я знал, что больше никогда в жизни не увижу ни этого пульмана, остывшего в тени акаций, ни водителя Нино, но, к своему удивлению, не испытывал особого огорчения,— впереди были новые дороги и встречи.

В Милане меня приютил на один день представитель общества «Италия — СССР» доктор Иван Зеленкин.

Маленьким мальчиком родители увезли Зеленкина из Новочеркасска в Италию, но он еще смутно помнил Россию и считал себя коренным донским казаком.

В его холостяцкой квартире стоял на круглом столе посреди гостиной медный тульский самовар — символ потерянной родины.

Доктор был прост в обращении, приветлив и хорошо, хотя и с легким акцентом, говорил по-русски. Управляла докторской квартирой веселая и крикливая прислуга Эмма — неистовая патриотка Милана. По ее словам, все лучшее в мире было только миланское,— только «миланэзэ».

По случаю приезда гостя из Москвы доктор созвал ближайших друзей. Эмма накормила нас тяжеловатым и сытным миланским обедом. Во время обеда из коридора в столовую вошли на цыпочках четыре мохнатые собачки разных цветов — черная, за ней — рыжая, потом — белая и позади — бежевая.

Собачки чинно сели около стола. Они не скулили и ничего не просили. Они только смотрели на нас преданно и умоляюще. Но это не помогло.

— Виа! Виа! — строго прикрикнул доктор, и собачки так же покорно удалились, как и пришли, соблюдая тот же порядок — сначала черная, а за ней — рыжая, белая и позади — бежевая.

Собачки побыли в коридоре минуты две, снова в том же порядке вернулись к столу, опять были изгнаны, опять вернулись и упорно проделывали это круговращение, пока не окончился обед.

Поэтому и разговор за обедом шел как бы циклами,— от одного возгласа «виа!» до другого.

Говорили о нашей поэзии, о Пастернаке. Потом — «виа!» — и разговор перешел на конгресс Европейского сообщества писателей в Турине. Снова «виа!» — и началось обсуждение картины «Рокко и его братья». Опять «виа!» — и молоденькая прелестная американка Джуди, соседка доктора, рассказала о том, как делаются золотые туфли на «шпильках» — те самые, какие были у нее на ногах.

Для большей наглядности Джуди сняла золотую туфлю и пустила ее по рукам.

Бронзовые волосы Джуди висели на затылке «конским хвостом». Ее глаза были салатного и несколько туманного цвета, а пышные и короткие юбки погромыхивали при каждом движении.

Кроме Джуди, за столом сидели молодой инженер — знаток советской поэзии — и какой-то очень ласковый и очень едкий старичок. Он все время добродушно кивал головой, но ни с чем и ни с кем не соглашался.

Доктор и все его друзья очень дружно показывали мне Милан в меру того короткого времени, которое я мог провести в этом городе. Дело в том, что Милан не был вписан в мою

итальянскую визу. Поэтому я мог быть в Милане только днем, но не мог в нем ночевать. Вечером мне пришлось возвратиться в Сен-Висент.

В Милане меня не покидало ощущение, что в отдаленной юности я жил в этом городе и когда-то уже чувствовал неподвижный и желтоватый жар его улиц.

Знаменитый собор стоял в лесах. Его реставрировали, и леса придавали этому фантастическому зданию еще более величественный вид.

Мы смотрели на собор со стороны прославленной миланской «галерии» — огромного пассажа, своего рода архитектурного чуда прошлого века.

Вся «галерия», терявшаяся вдали, была густо заставлена ресторанными столиками. Среди них приходилось лавировать, чтобы никого не задеть. Джуди шла впереди, легко изгибаясь, покачивая своими пышными юбками.

Позже, когда мы медленно проходили залы и дворцы замка Сфорца, я почувствовал внезапное удушье, будто мне зажали рот широкой горячей ладонью.

— Астма! — сказал доктор Зеленкин.— Едем сейчас же домой. Я сниму этот припадок. Вы должны знать, что в Европе есть два города, где астматикам нельзя жить,— Милан и Мадрид.

Я не знал этого.

Дома доктор дал мне яркие зеленые пилюли. Я тотчас уснул в шезлонге среди бегоний, а через полчаса проснулся без всяких признаков астмы.

Доктор и все его друзья так же дружно проводили меня до автобуса в Сен-Висент.

Доктор явно загрустил. Его расстроили мои рассказы о Москве и родном Новочеркасске.

Автобус мчался по темнеющей автостраде среди полей, маленьких рощ, разливов мелкой и тихой воды. За городом Аквилой он резко свернул в сторону Альп.

Мимо проносились еще не остывшие заросли, темные замки на крутых холмах. В глубине отдаленных долин то появлялись, то исчезали снега на вершинах Монте-Розы и Маттергорна. И над всем этим вечереющим миром висел в небе бледный месяц. Его свечение было таким ясным, будто на земле совершенно исчез воздух.

Я дремал и только по громкому эху, повторяющему пение клаксона, догадался, что автобус уже вошел в предгорья Альп.

На следующий день после возвращения в Сен-Висент я уехал в Турин, а оттуда улетел в Рим.

Воздушная глубина за окнами самолета казалась не синей, а черной. Тирренское море поблескивало внизу в бездне, как чешуйчатый щит.

На щите вдруг нестерпимо сверкнула прилипшая к нему

золотая песчинка. Мой сосед — сухощавый итальянский профессор с профилем Данте — показал мне на эту песчинку и внятно сказал:

— Монте-Кристо! Дюма!

Внизу в безбрежном океане воздуха и воды острой точкой горел маленький остров Монте-Кристо. Владельца этого острова Дюма выбрал героем своей очередной полувыдумки, своего увлекательного романа, в котором много наивных страстей и простодушия.

Старая Европа плыла под самолетом — частица нашей удивительной планеты, окруженной сиреневым сиянием, старая Европа, где родилось, возмужало, страдало и радовалось сердце. Оно стремилось передать всем, кто слышал его биение, тревогу жизни и красоту земли.

Стюардесса в сером обтянутом платье — тонкая и длинная, как земляная оса,— принесла на подносе горку разноцветных конфет в таких ярких обертках, будто веселый художник пробовал на них новые краски. Появление конфет обозначало, что самолет начинает спускаться. Обычно у пассажиров от смены давления возникает шум в ушах. Конфеты ослабляют этот шум, а иной раз совсем его устраняют.

Слух вернулся ко мне вместе со вкусом патоки и барбариса. Я слышал, как стюардесса произнесла с непременной заученной улыбкой знакомое слово:

— Чивитавеккья!

Самолет шел уже довольно низко над морем вдоль итальянского берега, освещенного заходящим солнцем. Был ясно виден этот сухой желтоватый город с резкими тенями в глубине аркад, разорванный прибоем на части каменный мол, спящие пароходы без единой струйки дыма из труб и красноватый воздух на площадях.

Да! Старая Европа вся целиком — до последних клочков материка, до последнего изгиба маленьких бухт — наполнена воспоминаниями, сжимающими сердце.

Вот Чивитавеккья — город, где полтораста лет назад настойчивый искатель счастья Стендаль служил французским консулом.

Лучше всего он сказал о себе сам: «Подлинное мое ремесло — писать романы где-нибудь на чердаках».

В Чивитавеккье он целые дни напролет читал и читал. Чтение было для него самой милой и напряженной работой. Он научился извлекать со страниц древних авторов мысли столь современные, что их можно было применить ко всему: и к новейшей политике, и к скучному характеру своего помощника по консульству — старичка итальянца.

Старичок делал за Стендаля всю его консульскую работу. Стендаль же изредка, и то главным образом из любопытства,

принимал капитанов кораблей, застрявших в этом скучном итальянском порту.

Стендаль часто ездил из Чивитавеккьи в Рим и полюбил дорогу через скудную равнину, ограниченную далекой стеной Апеннин.

Уединение в Чивитавеккье было плодотворно для Стендаля.

Может быть, уединение нужно время от времени всем людям, особенно писателям. Оно очищает сердце и сообщает счастливую длительность нашим мыслям и чувствам.

В Рим мы прилетели в сумерки.

Новый римский аэровокзал расположен на равнине вблизи моря. Он геометричен и прозрачен.

На аэровокзале было много патеров, монахов и монахинь. Они ждали самолета на Брюссель, где происходил какой-то католический съезд.

Патеры охотно и весело болтали с красивыми стюардессами, а пожилые монахини достигли совершенства в искусстве поджимать губы. Почти у всех монахинь губы были сжаты так крепко, будто из них выдавили всю кровь. Снаружи осталась только полоска синеватой кожи. Из-под ряс монахинь виднелись крепкие, хорошо начищенные ботинки. Кирпичный румянец лежал на выпуклых щечках. По внешнему виду монахини были вполне добротными старыми девами — мастерицами по вышивке и изготовлению спагетти.

Молодые монахини казались застенчивыми и часто краснели. Даже короткий, но пристальный мужской взгляд бросал их в краску и вызывал преувеличенный блеск в глазах.

Что касается монахов, то они элегантно подпоясывали свои грубые власяницы капроновыми веревками, а иные подъезжали к аэровокзалу на мотороллерах.

Вообще у нас до сих пор существуют превратные представления о многих вещах на Западе. Мы удивляемся, когда видим ласковых и доброжелательных кондукторов автобусов, шутливых и заразительно хохочущих на посту полицейских, детей, внимательных к взрослым, шоферов такси, у которых, как это ни странно, всегда находится сдача.

От аэродрома до Рима тянулась туманная низина. По ней мчался рой белых и красных автомобильных огней. Они отражались и дробились в глубине маслянисто-черной трассы.

С быстрым шумом пролетали по сторонам темные платаны. Казалось, что они прячут в своих вершинах ветер и выпускают его на свободу только в те мгновения, когда стремительно равняются с нашей машиной.

Рим разливался огнями все шире, казалось,— до самых Сабинских гор.

Иногда вместо мерного пения асфальта под колесами гудели каменные плиты,— быть может, остатки дорог времен цезарей.

Внезапно на плавном закруглении улицы мимо нас пронеслись пинии, подкрашенные алым огнем световых реклам. Мы начали огибать могучий овал Колизея.

За ним уже пылал Рим современный.

У некоторых городов, кроме звуков, общих для всех человеческих поселений, есть еще звуки, принадлежащие только им одним.

О таких городах говорят, что у них есть свой голос. Большей частью он звучит под сурдинку.

Каков же голос Рима? Мне кажется, что это шорох и плеск фонтанов. Я не буду говорить о пенистом фонтане Треви. Не было ни одного описания Рима за последние двести лет, где бы не упоминался этот фонтан.

В Риме я полюбил фонтан на Навонской площади и еще один безвестный и скромный фонтан около холма Яникул.

Около этого фонтана всегда сидела молчаливая старуха — продавщица цветов. Цветы у нее были самые простые, каких множество и у нас в России,— пионы, гвоздики, львиный зев и даже ноготки.

На Яникуле часто дул ветер. Малейший порыв его относил в сторону брызги фонтана. Дети с хохотом пробегали под этими брызгами. Вода в фонтане была зеленоватого цвета, как в лагуне.

Старуха держала цветы в большом эмалированном ведре. Фонтан все время орошал цветы. От этого они казались ярче и душистее. Сама же старуха сидела подальше от брызг под большим полотняным зонтиком и вязала красный грубый шарф.

Я сел невдалеке от нее и долго рассматривал каждого мальчишку и каждую девочку, игравших около фонтана, и всех людей, что сидели на скамейках в тени деревьев.

Далеко над мглой мерцал купол святого Петра.

Старик в сером нейлоновом костюме лежал на скамейке и спал, прикрыв лицо газетой. По газете пощелкивали брызги. Рыжий слепец в шляпе с петушиным пером сидел на складном стуле и торговал зубочистками.

Мальчик со светлыми легкими волосами попросил у старухи граненый стакан и принес в нем слепому воды из фонтана. Потом выполоскал стакан и принес воды мне, хотя я его об этом и не просил.

Я поблагодарил его по-русски. Он подпрыгнул на месте от восторга и что-то меня спросил. Я ответил наугад:

— Москва!

Тогда он протянул мне руку, потом умчался с пустым стаканом, зачерпнул из фонтана воды и принес ее старухе с цвета-

ми. Она подарила ему за это маленькую красную гвоздику. Мальчик побежал со всех ног к дальней скамейке, где читала книгу молодая женщина в трауре. Он отдал ей гвоздику, она приколола ее к платью на груди и поцеловала мальчика.

Мальчик схватил женщину за руку и начал изо всех сил стаскивать ее со скамейки.

Она засмеялась и поднялась. Мальчик подвел ее ко мне и сказал с горящими глазами, что я — из Москвы!

Мерно шуршал фонтан.

Женщина отколола гвоздику, засунула ее в маленький нагрудный карман моего пиджака, взяла мальчика за руку и ушла. Фонтан как бы рванулся ей вслед, швырнув множество брызг. Тогда она и мальчик обернулись и помахали на прощанье мне и фонтану.

Все плескалась зеленоватая вода. Мимо прошли веселые студенты в таких узких брюках, что было непонятно, как они могли натянуть их на ноги.

В четыре певучих тона пропел автобус-пульман. И я подумал о том, что все-таки хорошо жить на свете бродягой, от случая к случаю.

Несколько лет назад я увидел в Риме Навонскую площадь — Пьяцца Навона.

Приближался вечер. Боковой солнечный свет придавал зловещую живописность старым фасадам домов и воде, широкими струями лившейся из фонтана в бассейн.

Пьяцца Навона показалась мне живым воплощением старой Италии с ее карнавальными тайнами, пышной скукой и необыкновенными страстями. Страсти эти возникали от мимолетного взгляда, но сплошь и рядом приводили к катастрофам.

Невдалеке струился Тибр. Плакучие ивы полоскали в его мутноватой воде узкие листья.

За Тибром возвышался крутой приземистый замок святого Ангела. Солнце покрывало багрянцем его ноздреватые стены.

Я когда-то уже писал, что в 1930 году увидел в самом неожиданном месте — в селе Гришино, на реке Пре, на границе Мещорских лесов — картину неизвестного художника, относившуюся, очевидно, к концу восемнадцатого века. Картина изображала Пьяцца Навона в Риме. Поэтому и в первый раз, когда я увидел эту площадь, и сейчас, когда я ее увидел во второй раз, я вспомнил Гришино и запах багульника с окрестных болот.

Гришино было селом насквозь русским. На его песчаных улицах росла ромашка, клокотали черно-золотые петухи, и ласковые старухи все охали, все сокрушались о тяжелой людской доле.

Так эта площадь соединилась в моих мыслях с рязанской деревней и теплыми налетами смолистого ветра из сосновых лесов.

Сейчас, во второй раз, я попал на Пьяцца Навона поздним вечером. Несколько знакомых итальянцев, в том числе превосходный переводчик русских книг Пьетро Цветаремич — вольный, веселый и беспечный человек,— пригласили меня поужинать на Пьяцца Навона.

Вся площадь была заставлена столиками и превращена в сплошной ресторан. Только по обочинам были оставлены на мостовой узкие проходы для пешеходов и экипажей (проезд машин по площади был по вечерам запрещен).

Экипажи медленно двигались мимо столиков, покрытых пышными скатертями, уставленных оплетенными бутылками с вином и букетами цветов, уже немного увядшими от духоты.

Мы сидели за столом, освещенным только уличными фонарями и большой и слепой желтой луной. Она висела над соседней церковью в мглистом летнем небе.

Рядом с нами щелкали бичи веттурино и отчетливо цокали по мостовой подковы.

Мы пили вермут и всякие другие вина. Они пахли чуть горько. То был подлинный сок итальянской земли — кремнистый, сухой,— сок земли, омытой густыми и теплыми морями.

Цветаремич говорил о дружбе, возникшей на расстоянии. С нами сидел библиотекарь книгохранилища по истории искусств во Дворце Венеции Паоло Падовани. Это был скромный и ласковый человек, хорошо знавший нашу литературу.

Книги роднят людей. Я в сотый раз убедился в этом в ту ночь на Пьяцца Навона, когда три человека, далекие друг от друга по месту своей жизни, люди с разными биографиями, воспитанием, темпераментом, разными познаниями и разным языком, были близки друг другу, как люди одного общего дела.

Может ли возникнуть дружба, когда видишь человека впервые? На этот вопрос мне ответил Цветаремич несколько позже в письме из Рима.

«Я думаю,— писал он,— что когда возникает обоюдная симпатия, основанная на проникновении в какую-то созвучную зону другого человека, то она вполне оправдывает звание друга, несмотря на краткость знакомства».

Луна зашла за церковную башню. Таинственная ночная тень перерезала наискось площадь. Где-то далеко прозвонил колокол. Мы разошлись.

Потом у себя в смешном, очень узком номере гостиницы около виа Венета я долго оттягивал сон, долго слушал ночной Рим. Сон мне казался по меньшей мере преступлением.

Все же к утру он одолел меня. Но я вскоре проснулся от шума воды из шлангов. Поливали улицы. Метались по стенам солнечные зайчики, отброшенные сильной и холодной струей. Зелень виллы Боргезе еще дышала ночной прохладой.

Днем я вылетел в Москву через Брюссель.

На длинном пути нас всегда тревожит ожидание случайности. К сожалению, никак нельзя догадаться, что эти случайности принесут с собой — досаду или удачу?

Во время итальянской поездки одна из таких случайностей возникла в Риме,— мы узнали, что лететь в Москву нам придется не через Париж, как мы надеялись, а через Брюссель.

Мы, естественно, огорчились, обозвали про себя «битником» человека, доставившего нам билеты, а потом, уже в римском аэропорту, долго с недоверием смотрели, как за стеклянной стеной авиавокзала механики разогревали паяльником какие-то части в моторе нарядного бельгийского самолета общества «Сабена». На нем мы должны были лететь в Брюссель. Конечно, мы предпочли бы Париж и французскую «Каравеллу».

Самолет был небольшой, изящный, и взлетел он с таким же бешеным ревом, как и все самолеты, но грациозно и весело. Он как будто вспорхнул на воздух и даже заплясал на воздушных волнах.

Он оказался очень быстрым, этот легкомысленный самолет. Стюардесса с лицом восходящей кинозвезды едва успевала сообщать пассажирам о красотах земли, проносившихся внизу за слоем облаков: «Остров Корсика», «Лазурный берег», «Прованс», «Страсбург».

Так, играя, мы домчались до Бельгии, прорезали сверху пелену облаков, и вдруг под нами закачалась, как на праздничной ярмарочной карусели, веселая разноцветная страна. С воздуха казалось, что ее построили из кубиков дети на стриженой и очень зеленой траве.

В пустынном и непомерно просторном брюссельском аэровокзале выяснилось, что самолет на Москву пойдет только завтра днем и нам придется больше суток прожить в Брюсселе.

Мы обрадовались, но тут же испугались,— у нас не было бельгийской визы и не было денег, кроме тех грошей, которые мы оставили на последний короткий перелет из Парижа в Москву.

Но визы нам выдал бесстрастный жандарм в высоком, как вавилонская башня, кепи (при этом он незаметно сфотографировал наши паспорта), а деньги на жизнь, на гостиницу и такси нам тут же выдало, как это и полагается, агентство воздушного общества «Сабена».

Меня как «размагниченного интеллигента» все время смущала в Брюсселе мысль, что «Сабена» на нас ничего не заработала, а может быть, наоборот, даже добавила свои деньги. Успокоил меня только вид служащих «Сабены»,— они просто сияли, будто мы не могли доставить им большей радости, чем прожить за счет их фирмы целые сутки в несколько старомодном и несколько патриархальном Брюсселе.

В Брюсселе я убедился, что привычка вспоминать стихи с годами у меня не прошла. В Брюсселе я часто повторял прочитанные еще в 1914 году стихи Северянина:

О Бельгия, ты светозарна!
Твоих городов карусель
Под строки Эмиля Верхарна
Кружит, кружевея, Брюссель.

Но перед нами Брюссель промелькнул отнюдь не в светозарном, а в несколько туманном пространстве. И я понял, что этот туман и есть постоянный воздух Фландрии. Может быть, поэтому особенно яркими, будто только что вынутыми из прозрачной воды, представлялись цветы в корзинах у цветочниц и в брюссельских садах.

Гостиница — чистая, но поблекшая — попахивала старой мебелью и корицей.

В уличных кафе сидело много пожилых женщин. К ножкам столиков были привязаны дремлющие собаки.

Во многих кино шла картина «Ночи Европы». Я пошел на нее. Я вошел в зал во время сеанса. Девушка, совсем невидимая в темноте, подошла ко мне, взяла за руку и, освещая электрическим фонариком свои стройные ноги, провела меня на место.

На экране среди всяческих эстрадных номеров и рок-н-ролла возник стриптиз. Красивая перетонченная женщина в трауре медленно раздевалась, отбросив только что прочитанное и, должно быть, печальное письмо. Из-под ресниц ее медленно текли очень блестящие слезы.

Может быть, потому, что женщина в трауре была очень красива, нежна и беспомощна, зрелище стриптиза оказалось совсем не сексуальным.

Я вышел. Уже спустился вечер. Неяркий свет заливал улицы. Я свернул в темный кривой переулок. Кое-где в маленьких узких витринах стояли аляповатые статуэтки знаменитого мальчика — «Манекен писс» — и висели желтые, серебряные, черные и золотые брабантские кружева для туристов.

В глубине переулка слышался странный шум, похожий на отголосок церковной службы.

Я пошел на этот шум и неожиданно попал на большую квадратную площадь, обставленную высокими средневековыми домами.

Фасады этих домов из темного, почти черного камня были освещены снизу неяркими фонарями. Мне показалось, что на дома наброшено богатое золотое кружево. «Что это? — невольно спросил я себя.— Что за чертовщина?»

Но это было действительно так. Я стоял на Золотой площади Брюсселя. Впечатление кружева из тяжелого литого золота, опутавшего дома, было вызвано тем, что орнаменты на фаса-

дах, нарядные наличники окон, лепные гильдейские гербы, завитки колонн и балясины балконов были позолочены.

Золото на черном камне придавало зданиям загадочность и превращало ночь в золотой сумрак.

Безмолвные толпы стояли по краям площади и прислушивались к словам торжественной мессы. Ее служил среди площади под бархатным балдахином седой кардинал.

На балконе одного из зданий стоял в луче света молодой человек в простой военной форме.

Десятки длинных и причудливых исторических флагов времен восстания гезов, испанских войн и Тиля Уленшпигеля спускались с длинных флагштоков, выдвинутых из верхних окон домов. Флаги шуршали. До них можно было дотронуться рукой. Ткань флагов была мягкой и теплой.

— Что здесь происходит? — спросил я человека в кепке, надетой набекрень, и явно выпившего. Он покачнулся, схватился за мое плечо, утвердился таким образом на ногах и совершенно трезвым голосом ответил, что сегодня — праздник независимости Бельгии, что молодой человек на балконе — бельгийский король (человек при этом таинственно подмигнул), что месса окончена и сейчас начнется перекличка городов Бельгии — участников борьбы за независимость.

Все стихло. Невидимый мерный голос сказал откуда-то сверху, из глубины площади:

— Сейчас будет говорить Антверпен!

Антверпен произнес несколько слов, чтобы уступить место Намюру. После Намюра говорил Льеж, а потом — все достославные города Бельгии.

Каждую короткую речь городов перекрывал отдаленный орудийный салют, как будто над Брюсселем медленно катились по облакам гремящие ядра.

Лишь только стихал салют, тотчас возникал переливающийся звон многих колоколен.

Впервые я услышал знаменитые бельгийские серебряные колокола. Они звенели мелодично и нежно. Их перезвон наполнял, очевидно, все ночное пространство Бельгии от Северного моря и Брюгге до Лувена и Боринажа.

Звонила, перекликаясь, вся страна. Звонила по строгим и торжественным мелодиям бельгийских колокольных композиторов и звонарей.

После переклички городов в Брюсселе начался праздник. Выражался он в том, что брюссельцы танцевали всюду: на мостовых, на тротуарах, в скверах, во дворах и за освещенными окнами домов.

В кафе, куда я зашел, медленно танцевала с мальчиком тончайшая девушка с синими фламандскими глазами.

На стене кафе висело скромное объявление. Оно извещало посетителей, что в этом кафе бывали Верхарн, Ван-Гог, пи-

сатель Роденбах — певец умирающих фламандских городов — и великий и туманный Метерлинк — создатель «Синей птицы».

И снова мне вспомнились слова из полузабытых стихов:

О Бельгия, синяя птица
С глазами принцессы Мален...

Наутро мы вылетели из Брюсселя в Москву. Мы шли над Северной Европой на большой высоте, обходя исполинские башни белоснежных кучевых облаков. Они тянулись до самой Москвы.

Я думал о том, что много видел, но, как всегда, мне было мало этого. Сколько бы человек ни видел, ему всегда мало. Так и должно быть. Нам нужна вся земля со всеми ее заманчивыми уголками. Мы хотим видеть весь мир.

Недавно я прочел историю об одном маленьком английском мальчике. Он собрал в копилку несколько шиллингов и решил купить на эти деньги океанский пароход «Куин Мэри». Он пошел со своими шиллингами к капитану «Куин Мэри», но после этого посещения долго плакал, как плачут иногда взрослые над своей разбитой мечтой.

Вот так же и мы, взрослые, мечтаем о целом мире, как мечтал этот мальчик об океанском пароходе.

Но у мальчика было перед нами одно преимущество: капитан «Куин Мэри» был так тронут горем малыша, что подарил ему великолепную модель этого корабля.

А горести взрослых никого так сильно не трогают, и никто не вздумает подарить нам земной шар.

*1962*

# НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ

Осень в этом году стояла — вся напролет — сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (ее зовут в народе «мга») затягивала плесы на Оке и отдаленные леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь нее проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофер остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.

— Счастливо, друзья! — крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, должно быть, чтобы не заглушить затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и все смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его еще не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

«Вот,— подумал я,— еще один шедевр, печальный и старинный».

Должно быть, Баратынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей.

Кто он, Баратынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? Откуда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минувшего счастья, былой нежности, всегда прекрасной в своем отдалении?

В стихах Баратынского заключен один из верных признаков шедевра — они остаются жить в нас надолго, почти навсегда. И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что не досказал он.

Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая

строка стихов разгорается, подобно тому как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому как расцветает вокруг небывалый сентябрь.

Очевидно, свойство истинного шедевра — делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу...», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою...», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические — такие, как «Тамань». Они наполнены, как и стихи, жаром его души. Он сетовал, что безнадежно растратил этот жар в великой пустыне своего одиночества.

Так он думал. Но время показало, что он не бросил на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою и в поэзии, некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему — как возврат нежности.

Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова:

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!

Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер и, как всегда к любой перемене погоды — все равно к дождю или к солнцу,— орали за рекой во все горло беспокойные петухи. «Звездочеты ночей», как их называл Заболоцкий. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Оку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких угодно историй.

— Прямо «Жизнь на Миссисипи!» — говорил Заболоцкий.— Как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два — и уже можно писать книгу.

У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мух, пробежала над миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье первых дальних громов — первых слов на родном языке».

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти — сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.

В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым — по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию.

Но вернемся к Лермонтову и к «Завещанию».

Недавно я читал воспоминания о Бунине. О том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой советских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но все время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы.

Однажды ему принесли поэму Твардовского «Василий Теркин». Бунин начал ее читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слез. В руках он держал поэму Твардовского.

— Как великолепно! — сказал он.— Как хорошо! Лермонтов ввел в поэзию превосходный разговорный язык. А Твардовский смело ввел в стихи и язык солдатский, совершенно народный.

Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным.

Тайной сообщать обыденному, житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты — Пушкин, Некрасов, Блок (в «Двенадцати»), но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации и в «Бородине» и в «Завещании».

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь, какое непрерывное излучение — из века в век — исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ — нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром — прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в легкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля — вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом, белесоватом тумане серела парижская зима — странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает

пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решетках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей черный цвет, порыжевшей от времени, лоснящейся тальме. Такие тальмы носила еще моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей — моих тетушек. Даже в те далекие времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжелый стул к калориферу и строго сказала старушке:

— Садитесь!

— Мерси, мадам,— пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

— Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые

шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и воображения! Шедевры поэзии! Среди них лермонтовское «Завещание» кажется скромным, но неоспоримым по своей простоте и законченности шедевром. «Завещание» — всего-навсего разговор умирающего солдата, раненного навылет в грудь, со своим земляком:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали:

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата придает «Завещанию» трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах, в бледное, тускнеющее воспоминание.

По напряженной скорби, по мужеству, наконец, по блеску и силе языка эти стихи Лермонтова — чистейший неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был, по теперешним нашим понятиям, юношей, почти мальчиком. Так же как Чехов, когда он писал свои шедевры — «Степь» и «Скучную историю».

Голос над рекою затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул — так ожиданно зазвучали первые слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Я бы мог слушать эти слова и сто и тысячу раз. В них так же, как и в «Завещании», были заключены все признаки шедевра. Прежде всего — неувядаемость слов о неувядающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце.

О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт, и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь и сводишь на нет.

В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться,— совершенство человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на все, что окружает нас и вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть все более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь. И рождает шедевры.

Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облетающей непрерывно и днем и ночью. И блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла.

*1963*

# ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ

Впервые я попал в Польшу в 1901 году, маленьким мальчиком. Меня возила туда моя бабушка Вицентина Ивановна — очень строгая на вид, на самом же деле неслыханно добрая.

С бабушкой мы были в Белостоке, Варшаве и Ченстохове.

Несмотря на то что я хорошо помню эту поездку, она все же представляется мне сейчас каким-то далеким видением.

Второй раз я попал в Польшу во время первой мировой войны. Мы отходили под натиском немцев от Келец к Брест-Литовску и дальше к Барановичам.

Восточная Польша запомнилась как сыпучие пески, скрип колес, старые распятья на перекрестках и темные осенние ночи.

Было безветренно, тихо. По горизонту постоянно разгорались и дымили зарева, но ночи все же были настолько темными, что помогали думать, когда я лежал в санитарной фурманке, укрывшись шинелью.

Мне выдали старую кавалерийскую шинель. Она стала верным моим другом, эта длинная шинель из грубого сукна. Я быстро согревался под ней в сентябрьские ночи.

Шинель попахивала махоркой и кожей. Но от нее не воняло йодоформом, как почти от всех шинелей. За это я ее особенно ценил.

Никогда до тех пор я так подолгу не смотрел в мерцающее ночное небо, как в ту осень, лежа в фурманке среди польских болот и полей. Должно быть, поэтому Польша всегда вспоминалась мне потом вся в венках сияющих созвездий.

Звезды как бы благословляли эту измученную страну. Каждый раз я с неприязнью встречал заспанный рассвет. Его нельзя было остановить даже на несколько минут. Он был враждебен своей неизбежностью.

Однажды около городка Бялы я подобрал на свою фурманку и подвез до железной дороги беженцев — старика и девочку лет двенадцати.

Старик был так стар, что даже не отвечал на вопросы — только слабо отмахивался костлявой рукой, а девочка — светлая, тихая, какая-то вся золотистая — тоже молчала.

В ответ на расспросы она только опускала глаза — большие и грустные. В них как будто отражались сухие осенние васильки. Дно зрачков было выгоревшего синего цвета с легким блеском.

Звали ее Гражина.

Впечатление золотистости создавалось, должно быть, светлыми косами девочки с застрявшими в них стебельками соломы (очевидно, девочка ночевала с дедом где-нибудь в чужой стодоле) и ее выцветшей желтой жакеткой с большими оловянными пуговицами.

Время от времени я следил за взглядом девочки и видел то же самое, что и она,— отдаленные песчаные бугры, желтые заросли сурепки и старые вязы при дороге. Они трещали от воробьиного крика, как костры.

Я видел, как заметно побледнело синее поутру небо и по нему разлилась зеленоватая вода усталости. Очевидно, небо измучилось вместе с землей, все время содрогавшейся от канонады.

Изредка девочка кончиком белой косынки вытирала слезы в уголках глаз.

У меня в груди все болело от жалости к ней. Но чем я мог ее успокоить?

Напоследок, прощаясь, девочка прошептала: «Дзенькуе бардзо»,— и улыбнулась. Смущенная ее улыбка показалась мне воплощением всей этой милой страны: ее как будто остановившихся, медленных рек, береговых плакучих ракит и каких-то — тоже тихих и полудетских — рассказов о глубоко закопанном счастье.

После этого прошло больше сорока лет. В 1961 году я приехал в Польшу в третий раз.

Можете мне не верить — это меня не обидит,— но мне кажется, что я снова встретил в Польше ту девочку, которую

подвозил на фурманке на безлюдной станции Бяла. Только теперь ей было не двенадцать лет, а, должно быть, все восемнадцать. Она, конечно, выросла, но осталась такой же тоненькой и стеснительной.

Я встретил ее вблизи большого портового города Гданьска, в местности, называвшейся Оливой.

Там, в старом костеле среди парка, был знаменитый орган. Иногда в костеле устраивались концерты органной музыки. Для этого в Оливу приезжали лучшие органисты из разных мест Польши и Европы. Концерты происходили по ночам, когда в костеле оканчивалась служба.

Мы пошли на концерт органиста из Кракова.

Сырая ночь постукивала по земле редкими каплями, падавшими с листьев. Как всегда ночью, сильно пахли заросли петунии. Я заметил эти пышные заросли около костела еще днем, когда приходил брать билеты на концерт. Петунию высадили национальных польских цветов — красную и белую.

Ночь была освещена смутным электрическим заревом близкого Гданьска и огромного Гданьского порта — настолько освещена, что можно было разглядеть лица людей, ожидавших у входа в костел начала концерта.

Я слышал и видел много органов. По своей архитектуре они большей частью носили черты готики. Леса стрельчатых труб, рвущихся в небо, и отсутствие украшений были характерны для них.

Есть органы аристократические и простонародные. Особенно суровы и даже как будто пахнут хлебом и постным маслом органы в глухих местностях Польши. В пустых и небогатых костелах они звучат, как музыка пастушеского христианства, еще не извращенного насилием, ложью и властью.

Из аристократических органов я помню орган в одной из церквей Праги. На нем когда-то играл Моцарт. Орган этот был совершенно белый. Этот цвет соответствовал юности Моцарта и его живому и светлому характеру.

Орган — лучший из духовых инструментов. Богатство его тонов, трагическая мощь его голоса, сотрясающего небо, быстрый переход от грома к лепету песни — все это удивительно и почти загадочно.

Я люблю и органистов, но мало их знаю. Большей частью это скромные незлобивые люди, иной раз чуть глуховатые. На них смотришь с почтением и завистью — эти бедно одетые музыканты свободно распоряжаются небесными бурями и звенящим пением женщин.

Орган в Оливе был один из немногих, где готика уступала место барокко. Богатая резьба покрывала его. Деревянные ангелы с золочеными трубами в руках стояли по его сторонам. В мажорных местах, во время «Аллилуйя!», начинал работать

какой-то старинный механизм, ангелы подымали трубы к небу, и из них вырывался ликующий вопль.

В костеле зажгли слабые люстры. Невдалеке от меня села худенькая девушка лет восемнадцати с длинными, блестевшими светлой бронзой милыми косами.

Я посмотрел на девушку. Она вскинула строгие глаза. Дно зрачков у нее было василькового цвета с зеленоватым блеском.

Это, кажется, была та девочка со станции Бяла! Нет, конечно, не та! Но, может быть, даже наверное — ее внучка. Она казалась мне теперь, как и сорок пять лет назад, наилучшим воплощением нежности польской женщины. Говорят, этой нежности нет равной.

Какие-то полузабытые стихи — не помню чьи — возникли в памяти:

> Нежнее, чем польская панна,
> И, значит, нежнее всего.

Орган начал петь очень тонко. Звуки его как бы щебетали и перепархивали с ветки на ветку. Что это могло быть?

Я снова взглянул на девушку. Она отчеркнула что-то в программе маленьким ногтем и мельком посмотрела на меня.

Я тотчас нашел это место в программе. Органист играл пьесу (имя композитора я забыл) под названием «Пение тропических птиц».

Я никогда не думал, что орган может издавать такие тончайшие переливы.

Девушка-подросток снова взглянула на меня, но уже с тревогой, будто стараясь припомнить, где мы встречались. Лицо ее стало растерянным. Конечно, она не могла ничего вспомнить, потому что в первую нашу встречу ее еще не было на свете.

Она опустила голову, уже не слушая музыку. И даже крик труб, возвестивших пришествие радости, не вывел ее из задумчивости.

Орган затих. Костел опустел. Слушатели исчезали во тьме. Снаружи стояла осенняя ночь. Она все гуще наполнялась прохладой — с Балтики задувал полуночный ветерок. Сильнее пахли петунии. Сердце щемило от слабой боли. Все прекрасно, все хорошо! Чего же ему все еще нужно, этому беспокойному сердцу? О ком жалеть? Если жалеть о всех хороших людях, промелькнувших мимо, то не хватит сил довести до конца эту жизнь. А ее нужно разумно и с пользой прожить.

Я даже не пытался увидеть в беспорядочном свете автомобильных фар мою девушку — олицетворение сердечности и простоты. Уж в чем-чем, а в ее сердечности я был уверен.

Во время третьего свидания с Польшей я решил проехать по тем местам, где был во время первой мировой войны. Но когда я увидел новую Варшаву, восстановленную из бесконеч-

ных, тянувшихся до горизонта пирамид битого кирпича, стекла и известки, увидел этот блистающий город, возродившийся в полном смысле слова, «как феникс из пепла», я на время отложил свою поездку в места стародавних боев.

Героизм народа особенно виден в облике новой Варшавы. Каждый час дает пищу для удивления.

Поразительно, что целые части города, такие, как, скажем, Старе Място (Старувка), воссозданные по памяти, по старым обмерам, чертежам, снимкам, по рисункам Каналетто, снова наполнились красками и воздухом истории и стали уже не гениальной подделкой, а подлинником. Народ вдохнул в новые здания их прежнюю живую душу.

Рядом с новой Старой Варшавой раскинулась совершенно новая Молодая Варшава — легкая и светлая. В ней дома походили на океанские корабли, насквозь просвеченные солнцем и прохваченные воздухом. По всем признакам, за их стенами шла разумная и спокойная жизнь людей, узнавших истинную цену своей независимости, своей культуре и гуманной силе.

Цену этому поляки узнали, столкнувшись лицом к лицу со смертью, с черными ужасами Освенцимов, гетто, Майданеков, во время Варшавского восстания, в неистовой и, казалось, безнадежной схватке с армиями бесноватого фюрера.

Сейчас в Варшаве во всем — в отдельных людях и семьях, в беседах и даже, кажется, в осеннем светлом небе — разлито то спокойствие, какое помогает жить и пользоваться дарами культуры.

Это спокойствие Варшавы привлекает и дает человеку, даже приезжему, как я, иностранцу, возможность неторопливо воспринимать все вокруг.

Это спокойствие я почувствовал сразу, в первый же свой варшавский день, когда вечером приехал в Жолибож, залитый свежестью Вислы, к переводчику своих книг на польский язык, точному и обязательному человеку Ежи Енджеевичу.

Постепенно за вермутом выяснилось, что он не только переводчик и знаток литературы, но и моряк, объехавший Европу, и знаток Венеции и старого венецианского театра, и знаток еще многих неожиданных вещей.

Куда бы я ни попадал потом, это состояние спокойствия и душевной ясности не покидало меня: и в усадьбе писателя Ярослава Ивашкевича, где темно от вязов и тесно от книг, и в саркастической и тонкой обстановке дома поэта Антония Слонимского, и в простой комнатке поэта Ежи Фицовского — сына моего лучшего товарища по Первой киевской гимназии. Всюду и везде.

Каждый человек оборачивался ко мне самой неожиданной стороной, вызывал выжидательную улыбку.

Ежи Фицовский — передовой поэт и знаток старой Варшавы, был, кроме того, редким знатоком цыганской жизни и таборной поэзии, как бы полномочным представителем в Польше этого свободолюбивого и романтического народа.

Знатоком старой романтической Варшавы был и пожилой поэт Антоний Слонимский — человек насмешливый и мягкий, проживший сложную жизнь. Он поражал своей необыкновенной наблюдательностью. Благодаря ей он постоянно выхватывал из тянущейся, как по конвейеру, жизни один замечательный кусок за другим. Но каждый такой кусок в его рассказах — даже самый веселый — был чуточку окрашен печальной добротой и снисхождением к человеку.

Однажды Антоний Слонимский рассказал, как около его дома в Аллее роз (варшавская улица, где останавливался когда-то Александр Блок) к нему подошел маленький соседский мальчик и задал ему простой, но совершенно современный вопрос.

Надо заметить, что в Польше, как и всюду на Западе, некоторые магазины носят определенные названия.

Вблизи дома, где живет Слонимский, есть обувной магазин под названием «Антилопа». Маленький сосед доверчиво взял Слонимского за палец и спросил:

— Пан Антоний, я знаю, что такое «анти», но я не знаю, что такое «лопа». Может быть, вы объясните мне?

Слонимский ласково и как-то грустно рассмеялся, рассказывая это.

Сам он напоминал англичанина — худощавый, сдержанный, как будто одинокий среди всех.

И квартира у него была какая-то диккенсовская. Мне все казалось, что в ящиках его письменного стола обязательно лежат коричневые дагерротипы Домби-сына, Давида Копперфилда в старомодном цилиндре, Урии Гипа и самого Чарльза Диккенса с раскрытой книгой в руке.

Мир Диккенса устоял от мировых войн и катаклизмов. Добросердечие этого мира не могли убить современные варвары. Он оживал то в стихах Тувима, то в повестях Ильфа и Петрова, Гайдара и Каверина, то в словах самого хозяина дома.

У Слонимского есть прекрасная «Элегия еврейских местечек». Я знавал эти местечки еще во время первой мировой войны. В них было много добродушия и печальной веселости. Теперь такие местечки остались, очевидно, только на картинах Марка Шагала.

С Ярославом Ивашкевичем мы учились в одни и те же годы (в начале века) в разных киевских гимназиях, я в Первой, а Ивашкевич — в Четвертой.

Он в какой-то мере и сейчас остался киевским гимназистом. И я до сих пор замечаю в себе гимназические черты. Это нас

и сдружило. Строгая и несколько утомленная настроенность Ивашкевича, его неожиданный юмор — он роняет его как бы невзначай,— его страсть к скитаниям по земле, соединенная с высоким патриотизмом, его служение литературе и всепонимание — все это соответствовало тому представлению о старшем товарище, которое почему-то сложилось у меня по отношению к Ивашкевичу, хотя мы с ним ровесники.

Усадьба Ивашкевича Стависко вблизи Варшавы напомнила мне о том, чего я никогда не видел, а только представлял себе по рассказу Мериме «Локис». Сыроватый парк, тихая роща, старопольский обжитой дом со множеством книг и вещей разных эпох и стран, затянутые паутинным туманом пруды, аллея, по которой бредут, поддерживая друг друга, две старухи, простая трава и простые цветы в этой траве, которые обнаруживают себя волнами лекарственного запаха.

А в доме — чуть сумрачном от обилия вещей — должны бы по всем признакам происходить всякие таинственные случаи.

Один такой незначительный и веселый случай произошел в столовой за крепким чаем — «гербатой».

Вокруг стола сидела вся милая семья Ивашкевича, когда в комнату неслышно вошла очень маленькая и строгая девочка. Едва доставая до стола, она приподнялась на цыпочки, потянула к себе фарфоровую сахарницу, молча выбрала из нее весь кусковой сахар, сложила себе в фартук и, ни на кого не глядя, ушла.

Ивашкевич пристально смотрел на эту сцену и, очевидно, старался разгадать таинственное поведение девочки. В глазах у него зарождался смех.

Сумерки быстро сгущались в углах больших комнат. В тишине были слышны только семенящие шаги уходившей девочки. Как будто она одна жила в этом доме.

Невольно хотелось спросить: «Что это значит?» — будто в детском этом поступке заключался некий неуловимый смысл в духе рассказов Кафки.

В Польше я часто чувствовал то трудно определимое состояние, какое в книгах мы называем «подтекстом». Как будто существовали две Польши: совершенно реальная, повседневная и рядом с ней — иная, немного таинственная, полувидимая и полуслышимая.

«Тут что-то есть!» — говорил я себе порою и вспоминал Джозефа Конрада, Александра Грина и других людей. Примесь польской крови наградила их безудержным воображением и умением извлекать из жизни ее подспудное очарование.

Я видел в Варшаве фильм Ивашкевича «Мать Иоанна из монастыря ангелов». Сила человеческих страстей, безжалостных и заслуживающих сострадания, ощущается в этом фильме очень мучительно. Фильм обрамлен необыкновенным, почти ирреальным по своей скупости жестким пейзажем.

Все в Польше было действительностью. Но стоило приглядеться, и в этой действительности появлялись еле заметные сказочные черты.

Например, у Перро, да и у Андерсена, нет сказки о маленькой старенькой королеве-музыкантше, что с благоговением приезжает за тридевять земель послушать знаменитый концерт или посетить родину великого композитора.

В Стависко я увидел на рояле фотографию бельгийской королевы Елизаветы с ее дарственной надписью — старая королева приезжала в Польшу на шопеновские дни и навестила Ивашкевича.

Композитор Лист писал художнику Делакруа об одном отрывке из Второго концерта Шопена: «Кажется, что слышишь голос непоправимой утраты, настигающей человека среди ни с чем не сравнимого блеска природы».

Делакруа дружил с Шопеном. Он называл композитора «восхитительным гением». Он написал портрет Шопена. Этот превосходный портрет — на нем Шопен изображен уже больным и встревоженным — висит в Лувре, а копия его — в Желязовой Воле, в доме, где Шопен родился.

Это маленький, будто дремлющий дом. В комнатах пахнет разогретой на солнце сосновой смолой, горячими травами, лениво летают белые бабочки и садятся на изогнутые спинки старинных кресел. Несмотря на незатихающую игру рояля, в доме очень тихо.

Мы вышли из затененных комнат в парк и очутились среди того ни с чем не сравнимого блеска природы, где нас могла настигнуть, по словам Листа, непоправимая сердечная утрата.

Я плохо знаю и воспринимаю музыку. Но когда слушаю Шопена, то кажется что он умеет придавать оттенок радости каждой печали и долю грусти любой радости. Он как бы уравновешивает крайности нашего состояния и примиряет их в одном благородном спокойствии.

Мы приехали в Желязову Волю в жаркий августовский день. Небо было заполнено вереницами круглых маленьких облаков, будто только что вылепленных из свежего белейшего снега. Они без конца плыли, расходились, снова сходились и таяли над нами, как в медленном небесном полонезе.

Их непрерывное движение не мешало солнцу расточать на землю полуденный жар. Парк был прорезан стрелами света. Он вырывал из тени листья неизвестных деревьев и чашечки незнакомых цветов.

Парк был засажен растениями из разных стран. Их привозили сюда почитатели Шопена, сажали и уезжали, не зная, приживутся растения или нет. Но большей частью они приживались.

Я люблю бывать в местах, связанных с памятью замечательных людей. Из-за этого мне однажды пришлось крупно поспорить с недавно умершим американским поэтом Робертом Фростом. Этот едкий и умный старик сказал тоном, не допускавшим никаких возражений, что он ненавидит всякие мемориальные места и ни капли бы не пожалел, если бы их и вовсе не было на свете. Речь шла о Пушкинском заповеднике в Михайловском. Мне кажется, что в этом случае восьмидесятивосьмилетний поэт хотел блеснуть своей «левизной».

Я, наоборот, очень ценю те острова спокойствия, где можно немного одуматься и стать самим собой. Особенно я люблю такие места, как Михайловское, как тургеневское Спасское-Лутовиново, толстовская Ясная Поляна, чеховская Аутка и шопеновская Желязова Воля.

Люблю за то, что, попадая в эти места, мы невольно начинаем думать об удивительных людях, живших здесь. Мы как бы возвращаемся к ним после разлуки, жестоко растрепав в препирательствах с жизнью память о них и нашу любовь к ним.

Они — полузабытые — вновь оживают в тех местах, где, может быть, эхо до сих пор хранит их голоса.

Каждое посещение таких мест связано с мыслью о случайной и вместе с тем плодотворной роли расстояний в жизни людей.

Вот Шопен! Тихая Желязова Воля, где он родился. Потом Варшава, переезд на Запад, в Париж, свита блестящих друзей, Жорж Санд и Балеарские острова — такие далекие от этих польских фольварков и «мястечек». Острова, горящие в синем золоте Средиземного моря и не сгорающие, как неопалимая купина. Но на них сгорело сердце Шопена.

Сердце Шопена! Оно было привезено в Польшу в серебряной урне и замуровано в одну из колонн костела Святого Креста (Свентего Кшижа) в Варшаве.

В 1961 году я долго искал в этом костеле на Краковском предместье колонну с сердцем Шопена, но никто не мог мне ее указать.

Какой-то старик подвел меня к надгробию писателя Болеслава Пруса, но о сердце Шопена он ничего не знал.

Показала мне колонну только школьница лет двенадцати — худенькая и болезненная.

Теперь я могу сказать точно — сердце Шопена замуровано во второй от входа левой колонне. Его трудно найти, так как надпись плохо видна и закрыта бело-красными лентами от венков.

Надпись сделана с той стороны колонны, которая обращена к главному залу костела. Увидеть ее трудно еще и потому, что к колонне вплотную придвинуты высокие черные скамьи для молящихся.

За Вислой против Варшавы раскинулось бывшее предместье Саска Кемпа — Саксонская роща. Это обширный парк, где вместо аллей протянулись тихие улицы с небольшими живописными домами.

У меня осталось впечатление, что в Саской Кемпе живет много добрых и неторопливых людей.

Мы тщетно разыскивали там с шофером такси Финляндскую улицу. Жители Кемпы удивлялись, когда мы расспрашивали их об этой улице. У них был такой вид, будто мы шутим или втягиваем их в розыгрыш. Шофер терял терпение и все чаще повторял: «Вот холера!» Возглас этот совершенно не вязался ни с мирным видом жителей Кемпы, ни с красотой улиц и приветливостью домов.

Я убеждал шофера, что в конце концов мы благополучно выйдем из этой передряги с Финляндской улицей потому, что свет — не без добрых людей. Но шофер мне не верил

Он считал, что вся беда — в слишком быстром росте Варшавы. Каждый день появляются новые дома, улицы, новые названия улиц, и люди просто не успевают знакомиться со своим родным городом.

Я попросил его остановиться около сухой маленькой старушки. Она стояла на тротуаре и не решалась перейти через пустую улочку, как будто то были Елисейские поля в часы «пик». Шофер несмешливо хмыкнул, но все же остановил машину.

Старушка вся расцвела, заулыбалась и приветливо закивала головой на мой вопрос о Финляндской улице. Охотно, даже предупредительно она ответила, что безусловно не знает, где Финляндская улица. И ее брат-бухгалтер, который живет через два квартала отсюда, тоже не знает. Но он знаком с паном Ежи Трусевичем, а пан Трусевич живет на Пятой улице (налево) и, кажется, знает, где эта Финляндская улица. Во всяком случае, старушка слышала что-то в этом роде.

Старушка даже вызвалась показать нам дом, где живет пан Трусевич, но при условии, что мы пойдем с ней пешком, так как она боится ездить на этих чадящих «зварьованых таксувках».

Я поблагодарил старушку. Шофер тоже поблагодарил, но тут же сказал сквозь зубы: «До дьябла!» — и рванул машину.

Нам повезло. Примерно через полчаса мы наткнулись на Финляндскую улицу. Она оказалась такой тенистой и приятной, что шофер вместо упоминания «холеры» снял кепи и вздохнул.

На этой улице живет вдова замечательного польского художника Зигмунта Валишевского. О нем я писал в своей книге «Бросок на юг».

Впервые я увидел работы Валишевского в 1923 году в Тифлисе. Я предполагал, что многие его картины хранятся здесь, на Саской Кемпе, в тихом доме на Финляндской улице.

Я не ошибся. Ванда Валишевская показала нам замечательные, первоклассные работы художника, хранившиеся необыкновенно бережно в комнатах простых, свежих, отличавшихся корабельной чистотой и как бы собравших в одной призме все обилие света с протекавшей вблизи Вислы.

Пани Ванда взволнованно и как-то нежно рассказывала нам о Валишевском. Она называла его Зигой, и так начали называть его и все мы — настолько он был прост и близок каждому из нас.

Я втайне обрадовался тому, что художник был таким, каким я его представлял,— очень простым, застенчивым, очень ребячливым и обладавшим качеством, свойственным всем одаренным людям: способностью работать много и упорно, как будто шутя, но очень серьезно, ни в чем не изменяя тем священным законам живописи, которые он сам открыл и выразил.

С недоумением и презрением он уступал дорогу крикунам и зазывалам, боясь хотя бы на миг очутиться рядом с ними на тех ярмарках, где торгуют живописью, как маргарином.

Больше всего в его характере меня обрадовала ребячливость. Пожалуй, это качество — одно из самых привлекательных, отпущенных таланту. Ребячливы были Гейне и Пушкин, Бернс и Багрицкий, Моцарт и Пикассо. Хорошо бы составить список веселых и легких людей в искусстве и изучить их жизнь, чтобы найти те грани, которые сообщили такой бессмертный свет их творениям.

По тонкости и легкости рисунка, его меткости и характерности, по удивительной расцветке — то нежной, то густой, как ночная ровная синева,— картины Валишевского очень своеобразны, они никого не напоминают.

Часто среди потока света, цвета и линий в его работах возникают неожиданные антракты — страдание и печаль.

Но тут же рядом вновь звучат волны нарядной музыки, как на концерте, изображенном им на фреске в Вавеле, на потолке средневековой башни со странным названием «Куриная лапка».

Валишевский не только пейзажист и жанрист, но и твердый и беспощадный портретист.

Разнообразие живописи Валишевского так велико, что кажется — он пытался закрепить в красках и рисунке все, что непрерывно видели его глаз и воображение. И это ему удалось.

Из Варшавы мы проехали в Люблин.

Сорок шесть лет назад меня, военного санитара, застала в Люблине поздняя весна, вся в лиловых облаках сирени и в ее сладком запахе.

Казалось, что под тяжестью лиловых кистей могут обрушиться каменные ограды. Сирень наваливалась на них изо

всех сил, изнемогая от собственной пышности. Такого сиреневого разлива я еще не видел. Даже костелы внутри были все в сирени. Сонмы зажженных праздничных свечей чуть мерцали сквозь сонмы прохладных цветов, похожих на шляпки маленьких филигранных гвоздей.

Под сводами гулко летали шмели, привлеченные сиреневым запахом. Они подымались по солнечному лучу, седому от ладана, к нише. Там стояла задумчивая мадонна с гроздью сирени в руке.

Не знаю, может быть, это происходило от молодости, но с тех пор Люблин всегда оставался для меня полным весенней прелести. Все дело в восприятии. Что касается людей, воспринимающих жизнь острее и сильнее, чем она дает для этого поводы, то я за них. Я за тех, кто владеет этим богатством и умеет его находить.

Люблин, конечно, изменился. Он стал чище и строже, на его окраинах вырос большой и прекрасный университетский город. Но общий облик Люблина остался таким же привлекательным, каким я его запомнил в годы юности.

Все тот же величавый замок украшает вход в город. Все так же среди путаницы старинных сводчатых проходов, улочек и поворотов стоят старинные доминиканские костелы. Все так же из открытых дверей «кавярен» дивно пахнет только что смолотым кофе. И все те же любопытные мальчики восторженно и почтительно ходят по пятам за приезжими иностранцами. Сейчас иностранцами были актеры негритянского ансамбля из республики Мали. Мне казалось, что высокие и стройные, как тростник, негритянки заняли у люблинских полек их улыбку, вкрадчивость и тихий смех.

Все те же вековые деревья обрамляют пустынные переулки, по которым мы шли на свидание с молодым люблинским воеводой.

На его письменном столе стоял бронзовый бюст Пушкина. Воевода — в недавнем прошлом рабочий и партизан — вскользь рассказал нам, как он бежал из «лагеря смерти» Майданека. Потом он вынул записную книжку и показал, даже с некоторой гордостью, адреса всех писателей, художников и ученых, живущих в Люблине.

Пользуясь этой книжкой, воевода время от времени обходил дома этих людей, чтобы несколько минут поговорить, выпить «филижанку кавы», узнать новости, выяснить, как будто невзначай, в чем человек нуждается, и помочь ему.

— Настоящие люди искусства,— сказал, смущаясь, воевода,— всегда слишком скромны. Они ничего для себя не просят. Приходится таким способом («в тен спосуб») узнавать, что им мешает жить.

Очевидно, за эту заботу о своих горожанах люблинцы отзывались о воеводе с доброй улыбкой и говорили с ним за-

просто. Сам же он на своем высоком посту, к счастью, ни на йоту не утратил уважения к высокой культуре и к людям искусства. Воевода был удивительно демократичен. В Польше я вообще почти не видел злых и надменных по самой своей природе бюрократов. Это одно из многообещающих качеств этой страны.

С нами ходил к воеводе старый польский писатель Яворский — человек, на редкость преданный литературе.

Давным-давно в небольшом городе Холме (Хэлме) Яворский на свой страх и риск почти без денег начал издавать литературный журнал «Камена».

Старый, повидавший виды номер «Камены» с переводом отрывка из «Колхиды» Яворский подарил мне и только снисходительно улыбнулся в ответ на мое удивление.

— Полистайте,— сказал он.— Тут вы найдете почти всех новейших писателей Польши. И всего мира.

Теперь «Камена» издается в Люблине.

Я представил себе редакцию «Камены», когда она была еще там, в Холме.

В этом маленьком городе я провел один день во время первой мировой войны. Он поразил меня множеством парикмахерских (непонятно, кого там брили и стригли,— жителей в Холме было немного) и бывших униатских церквей. В редакции «Камены», кроме Яворского, было, очевидно, не больше двух сотрудников из местных литераторов. Вазоны с фуксией стояли на подоконниках. Окна выходили в старый сад. Тишина нарушалась только дребезжанием пролеток и плачущим пением мальчиков из соседнего хедера.

Такой я представляю себе редакцию «Камены» в Холме и, очевидно, не очень ошибаюсь. Во всяком случае, я был бы счастлив, если бы мне привелось работать в таком журнале и в такой провинции. Потому что нет, по-моему, более благородного и бескорыстного дела, чем создание очага литературы в глубине страны, почти всегда в этом отношении обездоленной. Как говорят поляки, «сто лят» (сто лет) пану Яворскому за его самоотверженный труд.

Перед отъездом из Люблина мы пошли в замок, но оказалось, что он закрыт и можно посмотреть только старую часовню-каплицу с обветшалой византийской росписью.

Лестница в каплицу высечена в толще холодной крепостной стены. Ступени у лестницы — высотой почти в полметра. Подыматься, а особенно спускаться по этой лестнице было трудно.

Византийский стиль — литой из золота, угрюмый, застывший, как стоящие коробом ризы священников, всегда казался мне воплощением бесчеловечности и жестокости.

Византийская пышность гнет головы к земле. Она давит, как чугунный венец. Она рождена властолюбием и гордыней.

Солнце было изгнано из византийской земли. И не только солнце, но и веселье, игра ума, телесная красота — все, что радовало вольный дух человека.

Я видел в Киеве в древнейшем Софийском соборе торжественные службы. Слов нет, это было и грозно и впечатляюще. Гремели клиры. С монотонной угрозой иереи возглашали молитвы. Жар сотен свечей как бы расплавлял золотые митры и многопудовые оклады икон.

С этих икон, как из узилищ, испуганно смотрели молодые богоматери, до одури окуренные ладаном, оправленные в старые жемчуга и смарагды.

На самом деле они были смуглыми и дикими, как козы, девочками, бегавшими босиком по жаркой иудейской земле. Их заперли в каменные капища, гневно восхваляли и грозили людям карами за обуревавшее их неверие в непорочное зачатие Христа.

Я воспитался в крепкой любви к свободе. Поэтому я, естественно, не мог восхищаться Византией и ее сухими канонами.

Сейчас, конечно, наивная моя неприязнь к Византии прошла. Многое я начал принимать — византийские базилики, мозаику, Айя-Софию в Стамбуле.

Айя-София показалась мне огромной, как мир, как вся земная сфера. Было страшно стоять там. Исполинский купол непонятным образом висел под небом.

Бывший вместе со мной в Айя-Софии писатель, робкий человек, сказал мне:

— Давайте лучше уйдем. Это слишком величественно и потому тягостно.

Много византийских базилик с полуразрушенными, узорно выложенными кирпичными стенами я видел в болгарском городке Несебре (бывшей Мессемварии), расположенном на крошечном полуострове Черного моря.

Они стоят, эти базилики, на самом берегу, веками слушают непрерывный шум моря и спят непробудным каменным сном.

В люблинской каплице остались только потускневшие фрески. Вопреки моему предубеждению, я увидел богатый орнамент, знакомых по киевским соборам крылатых серафимов и прекрасные расписные колонны, похожие на кроны пальм.

От предубеждения моего мало что осталось. Лишний раз я убедился в несостоятельности предубеждений, свойственных главным образом молодости.

Но откуда в Люблине Византия? Это оставалось загадкой. В часовне, кроме нас, было еще два польских художника — муж и жена. Они собирались снимать копии с этих фресок.

Молодой художник с трудом, путая польский, русский и французский языки, рассказал нам, что часовня эта построена

королем Владиславом Ягелло в начале XV века и расписана мастером Андрейкой из Москвы.

В замке было мертвенно тихо и гулко. Кроме нас и художников, здесь не было ни души. Только черный и очень пыльный пес вылез из будки во дворе и гремел цепью, пытаясь стащить через голову старый ошейник. Он был так этим занят, что не обратил на нас никакого внимания.

У ворот замка нас ждала машина. Около нее сидел на корточках, как всегда что-то проверяя, пожилой шофер в очках с железной оправой — пан Ежи, добрый дух нашей поездки по Польше.

У него было множество достоинств, не говоря, уж конечно, о том, что он был, проше пана, первоклассным, как бы спаянным с машиной шофером.

Кроме того, он знал Польшу, как свою комнату в Варшаве. Ни разу за всю дорогу он не посмотрел на карту.

Это был спокойный старый солдат, получивший восемнадцать ран куда хотите, за исключением, «пшепрашам паньства», раны в зад.

Пана Ежи несколько раз расстреливали. Он видел такие вещи, от каких леденеет кровь. Он был в числе первых освободителей Освенцима. Его машина тяжело буксовала на дороге, пропитанной кровью расстрелянных женщин.

Когда пан Ежи рассказывал об этом, то впервые за поездку у него затряслась голова и он сбавил скорость. Мне кажется, что такого отзывчивого и деликатного человека, как пан Ежи, нет другого в Польше.

Вряд ли у него были какие-нибудь недостатки. Мы заметили только один, и то совершенно пустяковый: пан Ежи не выносил «автостопов».

Термин «автостоп» придется объяснить. Он не всем известен. В Польше вы можете купить особую книжку с отрывными талонами. Книжки эти выпускает государство. Книжка дает вам право остановить любую машину, и если у шофера есть свободное место, то он обязан подвезти вас до любого пункта, который лежит на его пути. За это вы даете шоферу талон. Шоферы, набравшие определенное количество талонов, премируются мотоциклами и деньгами.

Обладатели такой книжки с талонами называются «автостопами». Их много машет своими книжками по обочинам польских дорог.

Добряк пан Ежи недолюбливал «автостопов» за неясность их психики. Дьявол его знает, какой попадется «автостоп» и что у него на уме! Поэтому мимо «автостопов» пан Ежи проносился на бешеной скорости.

Пан Ежи жил одиноко, очень скромно, много читал, а в

свободные дни ездил на своем старом мотоцикле удить рыбу на Вислу где-то около бывшей крепости Модлин.

Мне так и не удалось поехать с паном Ежи на рыбную ловлю. Но мы обсуждали эту поездку с ним так тщательно, что теперь мне кажется, что я все-таки ездил с ним на Вислу и удил рыбу в старых крепостных рвах Модлина — глубоких и подернутых ряской, где водятся, проше пана, караси, жирные, как свиньи.

Еще в Варшаве Ярослав Ивашкевич просмотрел наш маршрут по Польше, подумал и сказал:

— Прежде всего надо ехать в Казимеж. Правда? Очаровательный, малюсенький (в этом месте голос Ивашкевича приобрел неожиданную певучесть) старый городок. Я туда езжу из Варшавы только на пароходе по Висле. Правда?

Не один Ивашкевич, но и многие знакомые поляки вставляли в разговор это слово «правда». Очевидно, оно соответствовало выражению «это так!». Непонятно почему, но это маленькое слово заставляло вас слушать собеседника гораздо внимательнее, чем если бы этого слова не было. Оно как бы ставило абзацы и расчленяло речь на сжатые куски.

Поэтому из Люблина мы поехали в Казимеж — маленький город-музей на тихой и совершенно уснувшей Висле. По ней бесконечно долго шел, останавливался и снова шел против течения старый буксирный пароход. Мы уже уезжали из Казимежа, а буксир все еще добродушно пыхтел около городка, не обижаясь на лодки с подвесными моторами. Они его легко обгоняли.

Не тот ли это буксирный пароход, о каком мне рассказывали в Варшаве?

Варшавяне завидовали мне — тому, что я скоро буду в Кракове, и там, конечно, увижу в Вавельском замке знаменитые гобелены. В Польше их называют «арасами».

Когда немцы подходили к Кракову, гобелены были сняты и упакованы. Их надо было увезти во что бы то ни стало. Но не было машин. Армия отступала. Немцы яростно рвались к городу. В небе тучами висели фашистские авионы, население бежало, и казалось, гобелены обречены на гибель.

Тогда-то в Вавеле и появился пожилой капитан буксирного парохода, застрявшего в Кракове из-за отсутствия топлива для машины. Он пришел в Вавель и предложил сотрудникам немедленно перенести гобелены к нему на пароход, а топливо он как-нибудь добудет. «История умалчивает», как капитан достал топливо, но арасы погрузили на буксир, и он медленно, лавируя среди затопленных барж, сгоревших мостов, садясь на мели, с неимоверным трудом снимаясь с них и упорно уклоняясь от авиабомб, пополз вниз по реке к Сандомежу. Там надо было

перегрузить гобелены на железную дорогу и отправить в спасительный тыл.

Будь я на месте кого-нибудь из польских литераторов, я описал бы это удивительное плавание — на волосок от гибели и пожаров, в постоянном страхе за ветхую машину, в обстановке отступления и полного неведения, что делается у тебя за кормой.

Успокаивала только река — все такая же плавная, задумчивая, отражавшая облака и старые ивы. Но ни ивам, ни облакам не было, к сожалению, никакого дела как до людей, капитана и матросов, так и до арасов, лежавших в трюме.

Буксир останавливали, требовали от капитана, грозя оружием, чтобы он выкинул гобелены и взял военный груз. Но капитан, сжав зубы и не отвечая на ругань и даже на стрельбу, вел буксир дальше — метр за метром, пока не доставил гобелены в Сандомеж. Оттуда они были вывезены для сохранения в Канаду.

После войны Канада долго не возвращала их, долго тянула,— трудно было, конечно, расстаться с этим богатством. Но в конце концов Канада сдалась, и сейчас все гобелены висят на прежних местах в залах Вавельского замка.

Первое впечатление от них удивительное. Как будто искуснейший мастер разбросал по стенам свежие травы, цветы, статуи, ткани, мужественных героев, кокетливых пастушек, оружие, пернатые шлемы, пенистые каскады, утренние зори и армады облаков, несущихся по старинному небу на всех парусах к счастливой Аркадии.

В Вавеле начинаешь понимать силу этого как будто замкнутого в себе гобеленного искусства. И становится особенно значительным подвиг старого буксира, спасшего для Польши и для всего мира эту бесценную живопись.

Казимеж не город, а средневековая игрушка.

Его костелы, замки, его «каменицы», лабазы и аркады, его уют и предания, остатки живописной местечковой нищеты, поля, обступившие город и веющие сухими и душистыми травами,— все это как бы погружено в тишину, в солнце, в пустынность и дает отдых усталым глазам. И сердцу. Поэтому у Казимежа так много верных приверженцев.

Из Казимежа мы поехали в Ченстохов. Тусклый, но душный осенний день распростерся над Польшей. Одна тихая «весь» сменялась другой. Ощущение быстрого хода машины перешло в оцепенение. В небе накапливались тяжелые облака, потом шумными полосами начали набегать дожди, вихри, и гром заворчал, уверенно двигаясь к нам из потемневших далей.

В Ченстохов мы въехали уже в темноте, под проливным дождем.

Рассказывая о Ченстохове, мне придется повториться. О Ченстохове я уже писал.

Я хочу повторить о Ченстохове то, что, может быть, неизвестно части читателей. А именно, что Ченстохов — это цитадель католичества в Польше, священная Мекка для верующих поляков, в особенности для крестьян. Это место, где никогда не гаснет огонь фанатизма. Но жар этого фанатизма уже не так силен, как шестьдесят лет назад, когда меня привозила в Ченстохов моя бабушка. То была странная бабушка. Она одинаково верила в Христа, Магомета и Будду, но не выносила фанатизма и ханжества.

В Ченстохове на холме Ясна Гура высится старинный католический монастырь-крепость, выдержавший осады татар, турок и шведов. До сих пор в стенах монастыря торчат круглые ядра. Только опытный человек может сказать, какие ядра турецкие, а какие шведские.

В этом монастыре хранится величайшая католическая святыня — икона Ченстоховской богоматери («Матка боска ченстоховска») с разрубленной татарской шашкой щекой. Лицо ее поражает сухостью и полным отсутствием выражения. Ее считают чудотворной и в честь ее совершают пышные и многолюдные службы.

Было бы еще понятно, если бы люди несли свое поклонение к ногам юных и грустных мадонн — таких, как Сикстинская или Мадонна Литта. Здесь же оно кажется неоправданным.

Но так или иначе, к иконе стекаются десятки тысяч паломников, обычно осенью, как раз когда мы приехали в Ченстохов.

Служба около иконы начинается в четыре часа утра. Тогда раздвигается под звуки органов, пение клиров и перезвон серебряных колокольчиков золотая завеса, закрывающая икону на ночь. Этот момент считается самым торжественным, и на него все хотят попасть.

В старой и зажитой ченстоховской гостинице портье разбудил нас в три часа ночи. Шел дождь. Темнота тяжело лежала над провинциальным Ченстоховом, похожим на старые русские губернские города. В этой темноте медленно, будто увязая в ней, звонили колокола на Ясной Гуре.

На окнах в гостинице висели пестрые, крикливые занавески. Из закрытого на ночь ресторана тянуло холодным чадом горелой баранины. Из номеров слышался мужской храп, перемешанный с плеском воды в умывальниках и громким шепотом женщин, собиравшихся в костел.

Их беспокоил дождь. Он не шумел равномерно за окнами, как полагается дождю, а как-то небрежно, будто раздавая

пинки и пощечины, шлепал по тротуару и по лужам то тут, то там. После каждого шлепка он затихал и прислушивался к недовольным голосам. А услышав, как его бранят женщины, начинал злорадно барабанить по окнам, торопя богомолок, выгоняя их на холод и мокроту, в эту неуютную ночь.

К костелу подымалась широкая аллея из густых и низких лип. Последние уличные фонари остались позади. В аллее стоял непроглядный мрак. Мы слышали вокруг шорох сотен ног и затрудненное дыхание многих людей. В их хрипах и кашле как бы заключались вся невыспанность и сырость этой ночи, усталость, болезни, покорное терпение.

Пан Ежи шел с нами, как человек опытный, бывший здесь не раз. Машинам запрещалось приближаться к костелу ближе чем на километр. Поэтому мы оставили свою у подножья Ясной Гуры.

Это обстоятельство огорчало пана Ежи. Оно нарушало его понятие о вежливости по отношению к нам: как-никак, а все-таки иностранцам. «Непшиемность!» — но ничего не поделаешь. Пан Ежи только вздыхал.

Когда глаза немного привыкли к темноте, впереди на смутном небе проступили качающиеся кресты. Их несли перед процессией.

Темнота и дождь искажают размеры вещей. Сейчас кресты казались высокими и грозными, как будто именно на этих самых крестах были распяты на Голгофе Христос и разбойники.

Гравий трещал под ногами паломников, как трещал когда-то под тяжкой обувью римских легионеров, ведших Христа на казнь. По долгу службы легионеры отшвыривали с дороги бесноватых нищих, пытавшихся ударить Христа, в то время как он тащил, изнемогая, собственный крест.

Сколько раз еще в детстве мы видели эти мрачные и кровавые сцены Христовых страстей. Видели на полотнах и фресках величайших художников и на лубочных, грубо раскрашенных литографиях «для народа».

Неожиданно толпа запела,— очевидно, было уже недалеко до монастыря. Люди пели глухо, всхлипывая. Сквозь всхлипыванья все чаще слышались слова: «Матка боска ченстоховска, змилуйся над нами».

На небе не было еще признаков рассвета, но вокруг все же стало яснее. Свет исходил как будто от земли и мокрой травы.

Мы вошли в браму (ворота) монастыря, прошли вдоль его выщербленных стен и проникли в костел.

Мы опоздали. Золотая завеса уже была раздвинута. Икона — вся в цветах, свечах и серебряных амулетах — сверкала впереди, в дымном сумраке храма, бесстрастная и неживая.

Орган пел ей хвалы, и те же хвалы шептали вокруг сотни людей всех возрастов, даже маленькие дети.

Много лет назад я был в этом же костеле, в этот же час и на такой же службе. Я был испуган тогда, жался к бабушке, и мне казалось, что я совсем один в этом мире среди непонятных опасностей и враждебных людей.

Сейчас же я не испытывал ничего, кроме желания побольше увидеть и получше запомнить все, что происходило вокруг в этот дождливый день в том Ченстохове, куда я никак не думал попасть еще раз в своей жизни.

Мы вышли из костела. Дождь перестал, но раннее утро было еще пасмурное, сырое, пропитанное запахом недавнего дождя.

Во дворе монастыря под низкой аркадой шла общая исповедь. Большая толпа монотонно и слитно шептала о своих грехах. Все эти грехи были одинаковы и как бы давным-давно узаконены. Но все же иногда раздавался болезненный крик. Все настораживались, очевидно ждали истерического покаяния в каком-нибудь особенно тяжком и смертном грехе.

Впалые глаза загорались жадностью и любопытством. Люди сбивались вокруг кающегося, подымались на цыпочки, чтобы увидеть его, хватались цепкими пальцами за плечи передних, вытягивали жилистые шеи и громко дышали.

Казалось, толпа была готова ринуться на грешника или грешницу и растерзать их. Но бесстрастный ксендз, видевший многое на своем веку, слегка подымал руку, что-то говорил успокоительное, и напряжение разряжалось глухими женскими рыданиями. Тогда становилось ясно, что никакого греха не было и вообще его нет, а есть горе беспомощного и жалкого человека. И никакие силы никаких покаяний этому горю не смогут помочь.

Хотелось поскорее уйти из этой юдоли темного страдания. Много больных, изнуренных людей и калек протискивалось к иконе, чтобы повесить около нее символ своей болезни — серебряное сердце, серебряные почки, серебряные ноги и руки.

Мы вышли на крепостные валы. Они тянулись вокруг монастыря вдоль глубокого рва, густо заросшего деревьями. В ветвях шумел сырой ветер.

По ту сторону рва на высоких постаментах на уровне валов, по которым мы шли, стояли преувеличенно большие чугунные скульптуры, изображавшие страсти Христовы — весь путь на Голгофу, распятие и снятие с креста.

Молодая наша спутница смотрела с недоумением на эти жестокие и грубые статуи, на то, как по распущенным железным косам Марии Магдалины, склонившейся у ног Христа, бежали, будто по водостокам, струйки воды. Снова начинался дождь.

Я подумал о нашей спутнице, подумал, что глаза, излучающие столько радости, не должны смотреть на этот «сад страданий и казней».

Мы ушли. В ларьках на площади и перед монастырем мы увидели разноцветные свечи, обвитые золотыми полосками, и купили их.

Пан Ежи объяснил нам, что это «громовые свечи». Их зажигают во время грозы и ставят на окна, чтобы молния не попала в дом. И наша молодая спутница повеселела — свечи выглядели очень нарядно.

Перед нами открылась большая унылая низина с корявыми соснами, плоская, как плаха, и будто присыпанная золой.

Бывают же на земле такие безрадостные места — пыльные и угнетающие своим сухоточным однообразием, места, к которым целиком относятся слова: «Глаза бы мои на них не глядели».

На этой низине стоят вдоль дороги дома в два этажа. Расставлены они редко, вокруг них нет ни цветов, ни деревьев. Своим видом они только усиливают уныние этой земли.

Тотчас за домами тянутся вдаль, уходят в равнину прямые и бесконечные улицы из толстой колючей проволоки. Они теряются в тумане. Домов на этих проволочных улицах нет.

На огромных квадратах земли, ограниченных этой проволокой, видны сгоревшие и разрушенные бараки, длинные, как товарные поезда.

Проволока приклепана в несколько рядов к высоким столбам с тонкими, согнутыми, как у рахитиков, шеями. Шеи эти стальные. Они согнуты внутрь и тоже оплетены проволокой. Это западня. Перелезть через такую ограду изнутри невозможно. По проволоке еще недавно шел смертельный электрический ток.

Первое время больше всего думаешь о жильцах домов на краю дороги. Выселили из этих домов не всех. Часть жильцов почему-то не тронули, и они жили здесь все время со своими детьми и стариками. Жили в нескольких шагах от места, где каждый день убивали тысячи людей — просто так, без всякой причины, убивали ради убийства.

В домах, должно быть, было слышно все — и крики убиваемых, и выстрелы, и собачий лай немецких команд.

Да... Первое время все думаешь о мирных семьях, живших в этих домах. Все думаешь об этом. Может быть, они сходили с ума? Это было бы естественно. Они же все слышали и еще должны были объяснять детям, что происходит за толстой проволокой, где висят на перекрестках «улиц» таблички с номерами бараков, с рисунком безглазого черепа и надписью: «Внимание! Смерть!»

Вот хорошо! Хоть за это спасибо! И люди бросались на проволоку, чтобы скорей умереть.

Одна только ночь, проведенная в таком доме, была, должно быть, как последний круг Дантова ада, как кошмар, когда тебе засыпают песком горло, а ты не можешь ни крикнуть, ни вырваться.

Отсюда, от этих мирных домов, начинался «лагерь смерти» Освенцим — лагерь убийств, удушений, пыток, отчаяния, неслыханных зверств.

Но не будем так тяжело оскорблять зверей. Ни один зверь не способен на подлости, какие совершали здесь дикие существа, считавшие себя людьми,— выкормыши фашистской тирании.

При въезде в «лагерь смерти» стоят ворота с кощунственной для этого места надписью на немецком языке о том, что «труд делает человека свободным».

За воротами — приплюснутое к земле здание с широкой низкорослой трубой. Это крематорий. В нем сжигали заключенных. Кажется, что эта труба выросла на крови, как жирный красный гриб.

В крематории — железные ржавые транспортеры, покрытые какими-то твердыми наростами. По этим транспортерам подавали в жерла печей трупы задушенных газами и расстрелянных.

Сейчас жерла стоят открытыми, как беззубые пасти исполинских допотопных гадов, ждущих добычи.

Несмотря на то что за стенами крематория сверкает солнечный день, здесь темно, душно, люди спотыкаются о железное оборудование смерти, о ломы, о какие-то цепи. Железо почти непрерывно и мучительно гремит.

И так странно было видеть, как молодая женщина, закусив губы и опустив глаза, положила в желоб транспортера охапку влажных пурпурных гладиолусов. Она склонилась над желобом так низко, как мать склоняется над колыбелью ребенка.

Старая женщина, стоявшая рядом со мной, торопливо отвернулась.

— Боже,— сказала она.— Если бы он мог знать...

Кто он и что он мог бы знать? Отец или брат этой молодой женщины был, должно быть, сожжен здесь. По этому заржавленному желобу палачи сбросили его в огонь. И может быть, этот человек был вторым Юлием Словацким, или Венявским, или Витом Ствошем (о нем речь будет впереди).

Об Освенциме много писали. Он сохранен для того, чтобы мы никогда не забывали о чудовищной жестокости, на какую способен человек. Не забывали о двуногом исступленном животном, принадлежащем, к сожалению, к тому же разряду живых существ, к которому принадлежим и мы.

Освенцим — сгусток подлости. Как она могла так расцвести в наш век рядом с самыми высокими творениями человеческого духа?

Западная цивилизация попала в руки убийц. Великие ученые работали на массовое истребление. Человечество должно не гордиться ими, а проклясть их на веки веков.

Может быть, не стоит сохранять Освенцим? Может быть, лучше забыть о нем? Потому что трудно человеку жить и работать, когда тысячи хороших и добрых людей задушены без всякой вины тут же, рядом с нами.

Человечество получило еще один страшный удар в сердце. Теперь черный и пропитанный кровью фашистский застенок уничтожен. Но все же то тут, то там он напоминает о себе. Все время выползают из каких-то мусорных нор фашистские фюреры разных оттенков, но одинаково лживые и наглые. И до тех пор, пока они не будут уничтожены или обезврежены, у человечества не будет ни покоя, ни мирной жизни.

Во имя великих и поруганных ценностей, моральных и эстетических, которые нам доверили, во имя будущего, во имя того, чтобы оно просияло на идущие за нами поколения светом, теплом, уважением к человеку и к жизни, просияло дыханием свободы, чтобы в каждой, самой малейшей крупинке жизни и в самом легком душевном движении человека были признаки спокойствия и счастья,— во имя всего этого надо освободить мир от фашистских диктаторов.

Так вот — стоит ли сохранять Освенцим? Должно быть, да. Хотя бы ради тех мыслей, какие он вызывает.

Все, что осталось от Освенцима, похоже на галлюцинацию. И эта песчаная земля, что вдруг оседает под ногой в тех местах, где были закопаны трупы, и горы женских волос и детских туфель, и ржавые наросты на проволоке (кажется, что эта не ржавчина, а засохшая кровь), и уныние чахлых рощ, где много обгорелых сосен (здесь убитых сжигали на кострах), и фотографии молодых обнаженных женщин, идущих на расстрел, и черная виселица, за которой догорает осенний закат.

Невыносимо хочется бежать отсюда, бежать к мирной жизни, к огням, смеху, музыке, любимым книгам и друзьям.

В Освенциме я испытал внезапный озноб, гнев, стеснение сердца. Даже когда машина вынесла нас в вечерние затихшие леса и в окна дунуло запахом хвои и свежей воды, мы еще не могли вздохнуть полной грудью.

В 1916 году, во время первой мировой войны, наш санитарный отряд остановился однажды на ночевку в местечке Загнанске, надалеко от Келец. К Загнанску вплотную подходили невысокие горы. Была зима, и горы покрылись тонким снегом.

Рано утром, умываясь во дворе, я заметил вдали, на горах сельский костел. Мне захотелось пройти к нему.

На мое счастье, мы собирались простоять в Загнанске еще несколько часов, у меня было время, и я пошел по узкой извилистой дороге в горы к костелу.

Мы обычно запоминаем самые значительные случаи из своей жизни. Но вот сейчас, когда приходится много вспоминать, я обнаружил, что некоторые обстоятельства, внешне ничем не замечательные, не имеющие даже права называться событиями, тоже оставляют в сознании долгий след и, конечно, в какой-то мере помогают тому внутреннему процессу, какой называется «формированием человека».

Таким «обстоятельством» оказался этот простой зимний день. Впервые в сплошном потоке трудных и торопливых дней появилась наконец передышка и я мог побыть наедине с собой.

Костел стоял на вершине горы, вдали от селений. В нем могло поместиться, по-моему, не больше десяти — пятнадцати человек. Он был окружен сугробами и крепко заколочен.

Я обошел его вокруг. Замерзшие листья потрескивали под ногами. И все время лениво кружился снег. Он опускался на каменную скамью около костела, на чей-то могильный камень и на всю окрестную зимнюю даль.

В дверях костела было прорезано маленькое окошко. Стекло в нем было выбито. Я заглянул в окошко и увидел несколько старых скамей, алтарь, растрескавшегося деревянного Христа, бессильно уронившего голову в терновом венце, а под стеной за алтарем — старые знамена. Их было несколько. На всех знаменах виднелись изображения сломанного черного креста и таких же терновых венцов, как на голове Христа.

Я побродил около костела, потом сел на каменную скамью, прислонился к спинке, опустил наушники на шапке, поднял воротник шинели и даже задремал.

Меня усыпило торжественное, как церемониальный марш, падение снега и окрестная тишина. Только на юго-западе, в стороне фронта, изредка слышались раскаты орудий.

Давно я заметил, что открытые тихие дали всегда вызывают спокойствие и желание подвести итог пережитому, найти в себе и в своей жизни нечто равноценное этим далям, прежде всего — ясность, свойственную прекрасной земле.

Никого вокруг не было, и потому эти мысли можно было выразить только улыбкой. И я чувствовал ее на своем лице. Я улыбался отдаленным воплям петухов, едва слышному звону льда в ведрах с водой — их несла под горой крестьянка в красной шали,— слабому стуку топора все там же, внизу, и торопливой воркотне снегирей.

Мог ли я тогда подумать, что через сорок с лишним лет опять увижу эти знамена из Загнанского костела, но увижу в маленьком городке Анджееве около Кракова?

Из Освенцима мы поехали в Краков. По дороге мы остановились в Анджееве.

Городок этот известен великолепной коллекцией солнечных часов, собранных местным жителем астрономом Пшипковским.

Отец этого Пшипковского — провинциальный доктор, увлекался астрономией и выстроил рядом со своим жилым домом в Анджееве маленькую обсерваторию. Сын доктора-астронома, теперешний хранитель музея — большой, добродушный человек,— по общему мнению, был очень похож на Пьера Безухова из «Войны и мира». Что бы ни говорили скептики, но точный литературный образ обладает великой силой. Пьер Безухов вымышлен, его никто не видел и не мог увидеть, и все же он для миллионов читателей совершенно реальное лицо. Он даже реальнее многих наших знакомых.

«Пьер Безухов» — пан Пшипковский, близорукий и несколько смущенный этим обстоятельством,— ввел нас в большую комнату с застекленными шкафами. В них хранились десятки солнечных часов.

Я всегда представлял себе солнечные часы в виде простого, но громоздкого сооружения. Такие часы ставятся под открытым небом на площадях или в парках. Здесь же были собраны маленькие и очень красивые солнечные часы разных видов и форм. Большинство их сделано из меди.

От Пшипковского я впервые узнал, что есть целая наука о солнечных часах и называется она «гномоника». Пан Пшипковский показал нам такие маленькие солнечные часы, что они помещались на ладони. При этом Пшипковский заметил, что все египетские обелиски — не что иное, как стержни солнечных часов, и что упоминание о солнечных часах есть еще в Библии.

Потом он повел нас в свою прекрасную библиотеку и с гордостью показал первое издание коперниковского трактата.

В углу библиотеки стояли старые знамена. Я где-то уже видел такие знамена. Но где?

И я вспомнил заброшенный костел около местечка Загнанска, медленный снег и эти же знамена в сумрачном свете зимнего дня. То были зеленые и красные знамена с изображением грубо сломанного деревянного креста и терновых венков.

В библиотеку вошла мать Пшипковского — Софья Эдвардовна, очень живая и подвижная старая женщина, свободно и без всякого акцента говорившая по-русски.

Я спросил, что это за знамена, и сказал, что видел точно такие же знамена, но это было очень давно... и где? В ту минуту я не мог припомнить. Уж очень это было давно.

— Их можно было увидеть только в Загнанске,— твердо сказала Софья Эдвардовна.— Это знамена польских повстанцев тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Почти вся наша семья участвовала в восстании. Вы были когда-нибудь в Загнанске?

— Был, но очень давно.

Тогда Софья Эдвардовна рассказала, что много лет эти знамена хранились в заброшенном костеле в Загнанске. Костел этот стоит в пустынном месте.

Тогда я вспомнил до мельчайших обстоятельств тот час, когда я сидел на скамье около костела и снег валил вокруг громадными хлопьями. Вспомнил рассеянный свет, нисходивший с низкого неба.

Сквозь хмурость зимнего дня внизу, в долине, светились зеленые семафоры на полустанке.

В такие дни в домах бывает особенно уютно. Очень громко стреляют дрова в печах, очень шумит огонь, очень вкусным кажется кофе. И очень желанной становится размеренная и тихая жизнь с перекличкой петухов, подсвистыванием синиц, дымком, приникающим к крышам, и неожиданным лиловым подснежником, найденным на прогалине около дома.

Я долго смотрел на этот день, сидя на скамье. Я готов был благодарить кого-то за то, что этот день существует.

Как бы желая отрезвить меня, на юго-западе загремела сильная канонада. Очевидно, сейчас придется запрягать фурманки, седлать коней и отходить дальше — на Скаржиско и Ивангород.

Я пошел к полустанку. Мне хотелось окружить эту мирную деревню, эти горы и буковые леса непроницаемым для войны магическим кругом, спасательным поясом из плотного воздуха. Он легко останавливал бы и отбрасывал снаряды и пули.

Я усмехнулся ребяческим своим мыслям.

Краков — красивый город, но мне кажется, что в нем не очень уютно жить. До сих пор чувствуется, что он долго был под скучной властью австрийцев. На его улицах можно встретить много чинных и наглухо запертых людей.

Есть такое пошловатое выражение «супружеская чета». В Кракове вы можете наглядно убедиться, что это такое. В особенности в праздничные дни. Тогда по улицам важно шествуют «супруги» с «супругами». Каждая «супружеская чета» не прогуливается, а самодовольно несет себя и несет на себе, как на магазинной витрине, все, чем она имеет право, по собственному мнению, гордиться: дорогое пальто и перчатки, трости с серебряными набалдашниками, новые ботинки и меховое манто (на «супруге»).

Я не хочу сказать, что такое впечатление производит большинство краковян. Нет, конечно. Их не так много, этих тяжеловыйных людей. Но нигде в Польше, кроме Кракова, я таких людей не встречал. Потому они и бросаются здесь в глаза.

Но хватит о них!

Вообще же в Кракове уже много веселой и талантливой молодежи, художников, много рабочих из Новой Гуты, ученых. Не

будем отравлять впечатление от этого редкого по красоте города неприятными встречами.

Лучше пройдем по пустынным «плянтам», где ярко по осени цветет пурпурный шафран, по рабочим окраинам, где люди словоохотливы и ласковы, зайдем в Мариацкий костел, посмотреть алтарь гениального скульптора и резчика по дереву Вита Ствоша, побываем на острых студенческих спектаклях, войдем, как в святилище, в сумрачные залы Вавеля, где на стенах цветут знаменитые гобелены — арасы, а в крипте под алтарем собора стоят два саркофага — черный с прахом Мицкевича и белый с прахом Словацкого.

Со стен Вавеля открываются голубеющие пространства, похожие на старую географическую карту, когда топографы еще рисовали на картах города, мосты, мельницы, корабли и где-нибудь сбоку — амуров, дующих в раковины, чтобы вызвать благоприятный ветер для моряков.

Со стен Вавеля видны разноцветные полосы полей, отдаленные рощи, трубы и дымы Новой Гуты. К югу, где-то далеко над горизонтом, как бы висят низко, над самой землей, какие-то горы. Может быть, это тучи, а может быть, Татры.

В определенные часы на башню Мариацкого костела подымается трубач и трубит на все стороны света. Но пение трубы обрывается на половине мелодии в память трубача, убитого татарами во время одной из польско-татарских войн.

Татары пустили в трубача целый рой поющих стрел. Трубач упал, не допев своего сигнала.

В Кракове сохранились традиции. Это хорошая черта народа, любящего свою страну и ее прошлое.

Но есть традиции и странные, как, например, особое богослужение для женщин, собирающихся родить. Есть и нарушение традиций — выставка новейшего церковного искусства в одном из краковских костелов. Там вы можете увидеть церковный сюрреализм и даже угодную богу абстракцию.

Краков — город художников и художнической молодежи с неизбежным для нее увлечением новаторством.

В общем, это здоровая молодежь. Молодежь иной и быть не может. Молодежь всегда была беспокойной, всегда была занята спорами и выдумками, всегда будоражила стариков.

Вершины Татр были слегка присыпаны снегом. То тут, то там снег дымился от ветра. Тогда начинали шуметь черные горные ели и на асфальтовое шоссе со стуком сыпались большие шишки. Белки перелетали с ветки на ветку, распушив хвосты.

В Закопане шли упорные дожди, стало холодно, и мы вскоре уехали с юга Польши на ее крайний север — в Гданьск и Сопот.

В день отъезда по Закопане весь день носилась гуральская (горская) свадьба. Впереди скакал молодой горец в белых брюках с нашитыми на них черными шнурами. Время от вре-

мени он останавливался и играл на трубе. За всадником с песнями, хохотом и звоном валом валил свадебный кортеж.

Прохожие останавливались и смотрели с восхищением, но не на невесту, а на подругу невесты — дружку, девушку сверкающей красоты. Гибкая, высокая, в зеленой шелковой юбке и пестрой шали, она смущенно смеялась. Ее гортанный переливающийся смех действовал на зрителей, как колдовство.

Прохожие шли следом за свадьбой и не спускали глаз с этой девушки. Только на выезде из города они останавливались и нехотя возвращались. Но на лицах у них долго еще оставалась счастливая и удивленная улыбка. Очевидно, странные мысли появлялись у них в голове: что вот, мол, они много колесили по свету, видели много городов и тысячи всяких людей, но никак не думали, что в отдаленном и маленьком горном городке в Польше на границе с Чехией встретят девушку, не уступающую самым прославленным красавицам мира. Очевидно, такое же впечатление произвела бы Галатея, если бы она ожила и прошла перед нами по улицам скучноватого городка своей крылатой, легкой походкой.

Все кажется серым — очень гладкое и холодное море, облака, озябшие деревья с понурой листвой и пустынные пляжи. По ним надо долго идти до уреза воды. По пути можно набрать кусочки темного янтаря.

Все вокруг серое, и только паруса рыбачьих шаланд — оранжевые, зеленые, красные и черные — веселят однообразную даль Балтики. Изредка слой облаков утончается и сквозь него белым пятном пробивается солнце. Но и этого достаточно, чтобы в море вдруг появились синеватые отблески.

На длинной дощатой пристани в курорте Сопоте пусто. Там с разных сторон задувает ветер да ходит с озабоченным лицом престарелый рыжеватый пижон с маленьким транзисторным приемником. Этот прибор висит у него на ремне через плечо, как фотографический аппарат, и играет разные джазы.

Пижон с приемником быстро ходит взад и вперед до пристани. Он нетерпелив. Звуки джаза тянутся за ним, как нитка. Иногда она обрывается, приемник замолкает, и вступает в свои права морская тишина. Тогда слабые всплески мелких волн кажутся прибоем.

Пижон, бегавший по пристани, развлекая джазами самого себя, был воплощением пошлости и пустоты.

Но вскоре на пристани появился еще один престарелый тип под стать первому пижону, но с той только разницей, что пижон был круглолицый и рыжий, а новый посетитель пристани вытянутым своим лицом напоминал людей с картин Эль Греко. Его веки были надменно полуприкрыты. Несмотря на холод, он был в шортах. От взгляда на его голые волосатые ноги

день почему-то казался холоднее, чем был на самом деле. Пижоны изысканно поздоровались друг с другом.

— Счастлив быть вашим слугой,— сказал один.

— Я послушный ваш раб,— ответил другой.

— Я не знал, что шановный пан такой любитель легкой музыки.

— Да простит меня пан Едвабный,— ответил первый пижон,— но джаз не есть легкая музыка.

— Фешенебельное развлечение! — сказал тип с длинным лицом.— А скажите, джаз не расстраивает ваши нервы?

— Я не отстаю от века,— несколько язвительно заметил пижон с приемником.

В это время приемник щелкнул и вдруг запел:

О, алуэттэ!
О, алуэттэ!
Та-та-то-то-ти-ти-там-там!

— Весь Париж,— сказал человек с длинным лицом,— сто лет поет эту песенку. Даже рамолики, кушающие овсянку. И склеротики, не помнящие своего имени. Весь Париж!

— Не дай бог, чтобы пана Едвабного постигла такая участь. Мое нижайшее почтение шановному пану. До лучших дней.

Человек с приемником вздернул плечами, будто поправляя свой кургузый пиджачок, отошел, и грянул бравурный марш, очевидно, в честь катера «Олимпия», подходившего к пристани.

— Старый башмак! — с сердцем сказал пан Едвабный.— Подумаешь, знаток музыки! Нажился на подтяжках, рыжий пес!

Я был на стороне пана Едвабного. Но поскольку он явно рассчитывал на длинный разговор со мной, то я предпочел уйти. Я сделал вид, что очень заинтересован тем, как пристанет «Олимпия». Она пришла из Гдыни и отходила в Гданьск.

«Олимпия» привезла только пятерых пассажиров, и в их числе мальчика с большим ленивым котом.

Кот лежал на руках у мальчика, как одалиска. Он томно свесил голову, будто артист, усталый от поклонниц и славы.

Пижон включил приемник, как говорится, «на полную железку», и тот заревел «Очи черные». Глаза у кота обезумели. Он с воплем отчаяния вырвался из рук мальчика и помчался, распластываясь, на твердую землю. Мальчик помчался за ним, а молодой матрос с палубы «Олимпия» кому-то крикнул:

— Опять этот варьят [1] играет на своей машинке! Кто до Гданьска? Отходим! Кто до Гданьска?

Я поднялся на палубу катера. Очевидно, по случаю холодного дня других пассажиров не было.

Мы отчалили. Пижон включил по случаю нашего отъезда тягучий вальс.

---

[1] Варьят — сумасшедший.

В море катер начало покачивать. Я смотрел на балтийскую воду — она была оловянного цвета, но очень прозрачная. В ней плавали веточки водорослей. Под днищем катера было хорошо видно песчаное дно.

Очень давно, лет тридцать назад, я прочел в каком-то журнале статью под названием «Архитектура кораблей». Кажется, это была статья Корбюзье.

Люди очень долго не замечают и не признают новой красоты. Понятие красоты с течением времени изменяется и расширяется. Древние греки не знали красоты неонового света, а мавры — красоты океанских пароходов.

На новую красоту людям нужно открывать глаза. С детских лет мы знали, что парусные корабли красивы даже своими названиями: фрегаты, баркантины, клипера — и названиями отдельных бесчисленных частей корабля и такелажа: шканцы, штирборт, бизань, кабестан, кливер, топенант. Но нам не приходило в голову смотреть как на произведения искусства на железные пароходы. Мы видели в их конструкции только утилитарные и совершенно необходимые вещи, пока нам не открыли глаза, и мы с бьющимся сердцем вдруг заметили мощные изгибы железных бортов, могучие трубы, просторные палубы, ряды сверкающих иллюминаторов.

Разговор об архитектуре кораблей происходил на Гданьской судостроительной верфи.

На этой верфи шаг за шагом можно проследить рождение корабля, начиная от ребристого скелета и кончая готовым кораблем, только что спущенным на воду.

На верфях (по-польски «сточнях») нас окружали океанские громады. Мы поднялись на одну из таких громад — на так называемую «рыболовную базу» «Печенега», построенную в Гданьске для СССР.

По существу, это был не корабль, а морской дворец. На «Печенеге» было все, что нужно человеку для культурной жизни, в том числе и большой зал для кино и спектаклей.

Существует неписаный закон: чем тяжелее условия плавания, тем больше должно быть на корабле комфорта.

«Печенега» плавает в северных водах, у берегов Канады, Исландии и Гренландии. Поэтому на ней удобно и просторно. Мощь ее машин и мощь стройного корпуса создают у экипажа «Печенеги» уверенность в своем корабле.

Так почти незаметно рождается мысль о неразрывной связи технических качеств корабля с его внешним видом. Так рождается эстетика кораблей, отрицающая все лишнее и утверждающая только необходимое. И вот оказывается, что эта ясность и простота архитектуры сами по себе являются эстетическим фактором, сами по себе величественны, гармоничны и не требуют никаких украшений.

Наоборот, любое украшение ощущается как ненужное пятно. Оно просто нестерпимо.

В каюте капитана «Печенеги» мы пили шерри-бренди. Капитан рассказывал о последнем рейсе корабля в те воды, где рождаются туманы и айсберги, где у людей обостряется чувство родины.

На Гданьских верфях я долго смотрел, как работают судостроители. В большинстве это потомственные заслуженные пролетарии — спокойные и независимые. Самый их труд, самая манера их работы вызывала удивление. И уважение. Все это были подлинные мастера. Было совершенно ясно, что никто, кроме них, не мог бы так уверенно справиться с этой сложной работой.

Сознание собственного достоинства и собственного рабочего таланта делало их несменяемыми хозяевами этих верфей. И не только верфей, но и всей страны.

Туманные, сырые равнины балтийской Польши, какая-то неподвижная река вся в зарослях увядшего стрелолиста, а за рекой — замок-монолит Мальборг, приют крестоносцев.

Там в подвалах стоят очаги — на них целиком жарили на огромных вертелах быков и диких вепрей. Там горячий ток воздуха бьет из решетчатых отверстий в полу — средневековых калориферов. Мы останавливались на этих решетках, чтобы согреться.

Архитектура замка сурова, безжалостна. Такой замок, должно быть, может выдержать взрыв атомной бомбы.

Между двух крепостных стен, окружающих замок, растут огромные кусты бузины с красными ягодами, стоит сладкий запах облетелой листвы и в углу чернеет виселица — старая, источенная червем, готовая вот-вот рухнуть. При взгляде на нее вспоминаешь, что никогда еще на земле не было полного счастья и благодатного покоя.

Но такое время придет. Не может не прийти.

По дороге из Гданьска в Варшаву тихий туман лежал над полями. В этом тумане придорожные березы казались призраками. И если бы не дети, спешившие в школу — маленькие девочки и мальчики с пачками книг,— то последним впечатлением от Польши были бы эта тишина и туман.

Мы взяли в машину и довезли до какого-то городка двух школьников, двух мальчиков с веселыми и смущенными глазами. Они быстро о чем-то трещали и шмыгали носом — жест всех мальчишек на всем земном шаре.

Когда мальчики сошли, шофер, не оборачиваясь, сказал:

—Вот кому интересно жить. Правда?

А я подумал о странном совпадении: мое знакомство с Польшей почти полвека назад началось с того, что я подвез

на фурманке девочку со стариком, а сейчас, уезжая из Польши, мы подвезли двух мальчиков. Я не знаю народных поверий, но, очевидно, такие встречи с детьми к добру? Кто знает?

Село солнце, и на горизонте возник купол света. Мы подъезжали к Варшаве.

Надо было прощаться с Польшей, с ее сердечными людьми, верящими в свое умное будущее.

И снова пришло знакомое всем скитальцам чувство — будто ты оставил часть своего сердца в покинутой тобой стране. Но, вопреки всем естественным законам, ты не обеднел, а, наоборот, стал богаче.

*1963*

## ИЛЬИНСКИЙ ОМУТ

Людей всегда мучают разнообразные сожаления — большие и малые, серьезные и смешные.

Что касается меня, то я часто жалею, что не стал ботаником и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих растений, по приблизительным подсчетам, чертова уйма — больше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти деревья, кустарники и травы со всеми их свойствами.

Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето — то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства.

Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.

Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они разгораются. И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. Это — сожаление о том, что не удалось — да, по-

жалуй, и не удастся — увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном разнообразии.

Да что там — весь мир! На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.

Я, например, не видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермонтова в Тарханах, широкого монотонного разлива Оби в ее устье, около городка Салехарда — бывшего Обдорска.

Самое это название — Обдорск — вызывает представление о чем-то скудном, о безлюдной северной земле, что погружена в величавое уныние и тонет в водянистой мгле.

Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно много. Все зависит от пытливости и от остроты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и красок,— вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони — с их нежной припухлостью между тоненьких жилок.

Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето.

Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России.

Мы не любим пафоса, очевидно потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили: «Великое солнце Аустерлица».

Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим ее звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боев последней войны и с тех пор никто ее не нарушал.

То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский омут.

Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой Плес около Кинешмы.

Оно не связано ни с какими историческими событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской при-

роды. В этом отношении оно, как принято говорить, «типично» и даже «классично».

Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость, я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны и что в них есть нечто священное.

Имел же Пушкин право говорить о «священном сумраке» царскосельских садов. Не потому, конечно, что они освящены какими-либо событиями из «священной истории», а потому, что он относился к ним как к святыне.

Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой.

К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки.

Поверьте мне,— я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу.

Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание: если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке, среди этой высокой травы.

Кажется, что цветы и травы — цикорий, кашка, незабудки и таволга — приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь оттого, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы и озабоченно сосут жидкий пахучий мед.

Но не в этих травах и цветах, не в кряжистых вязах и шелестящих ракитах была заключена главная прелесть этих мест.

Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они подымались ступенями и порогами одна за другой.

И каждая даль — я насчитал их шесть — была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и воздухе.

Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму.

На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг — суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина.

Внизу за суходолом виднелась пойма реки, вся в зарослях бледно-розовой таволги. Она уже отцветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков.

На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты. Их обливал зной. Листья висели, как в летаргии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив и ракит превращалось в бурлящий водопад листвы.

На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От нее медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести.

Дальше, на третьем плане, подымались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, где сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой.

Над лесами все время настойчиво парили коршуны. И день пáрил, предвещая грозу.

Леса кое-где расступались. В этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными платами, плавно подымаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле — постоянной спутнице отдаленных пространств.

В этой мгле поблескивали тусклой медью хлеба. Они созрели, налились, и сухой их шелест, бесконечный шорох колосьев непрерывно бежал из одной дали в соседнюю даль, как величавая музыка урожая.

А там, за хлебами, лежали, прикорнув к земле, сотни деревень. Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал — так, по крайней мере, казалось — запах только что испеченного ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая, лебединые торжественные облака.

Однажды летом я жил в степях за Воронежом. Все дни я проводил или в одичалом липовом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сухом кургане.

Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы.

В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на гли-

няный теплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой.

В нем непрерывно возникали все новые очень белые и выпуклые облака и медленной чредой уплывали на север.

Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по моему лицу, и я закрывал глаза, чтобы уберечь их от резкого света. Я растирал на ладони венчик чабреца и с наслаждением вдыхал его запах — сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море и что пахнут чабрецом не степи, а его наглаженные прибоями пески.

Иногда я задремывал около жерновов. Высеченные из розового песчаника жернова переносили мою мысль ко временам Эллады.

Несколько лет спустя я увидел статую египетской царицы Нефертити, высеченную из такого же камня, как и жернова. Я был поражен женственностью и нежностью, какая заключалась в этом грубом песчанике. Гениальный ваятель извлек из сердцевины камня дивную голову трепетной и ласковой молодой женщины и подарил ее векам, подарил ее нам, своим далеким потомкам, так же, как и он, взыскующим нетленной красоты.

А два года спустя я увидел во Франции, в Провансе знаменитую мельницу писателя Альфонса Доде. Когда-то он устроил в ней свое жилище.

Очевидно, жизнь на ветряной мельнице, пропахшей мукой и старыми травами, была удивительно хороша. Особенно на нашей воронежской мельнице, а не на мельнице Альфонса Доде. Потому что Доде жил в каменной мельнице, а наша была деревянная, полная милых запахов смолы, хлеба и повилики, полная степных поветрий, света облаков, перелива жаворонков и цвиканья каких-то маленьких птичек — не то овсянок, не то корольков.

Но на Ильинском омуте не было, к сожалению, ни ветряной, ни водяной мельницы. И это очень жаль, потому что ничто так не идет к русскому пейзажу, как эти мельницы. Так же, как русской крестьянской девушке очень идет цветистая шелковая шаль. От нее глаза становятся темней, губы — ярче и даже голос звучит вкрадчиво и нежно.

На самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи стоял на меже узловатый вяз. Он шумел от порывов ветра темной листвой.

Мне все казалось, что вяз неспроста стоит среди этих горячих полей. Может быть, он охраняет какую-то тайну — такую же древнюю, как человеческий череп, вымытый недавно ливнем из соседнего оврага. Череп был темно-коричневый. От лба до

темени он был рассечен мечом. Должно быть, он лежал в земле со времен татарского нашествия. И слышал, должно быть, как кликал див, как брехали на кровавое закатное солнце лисицы и как медленно скрипели по степным шляхам колеса скифских телег-колесниц.

Я часто ходил не только к ветряку, но и к этому вязу, и подолгу просиживал в его тени.

Скромная невысокая кашка росла на меже. Старый сердитый шмель грозно налетал на меня, стараясь прогнать человека из своих пустынных владений.

Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце подымалась какая-то родственная любовь к каждому колоску.

Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом.

За Ильинским омутом была видна в отдалении зеленая стена. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом пряталась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский дом с террасой и венецианскими окнами.

В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином» — бесконечно грустный рассказ о любви и милой девушке Мисюсь.

Мисюсь уехала из этих мест навсегда, но чеховская грусть осталась. Она живет в глубине сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стеклах. Если вы прикоснетесь к этой бабочке, то увидите, что она мертва.

Пруд застлан огромным зеленым ковром ряски. Потомки тех карасей, которых здесь удил Чехов, тихонько чавкают, поедая водоросли и подставляя солнцу то один, то другой бок из литого темного золота.

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвернулся и ушел, чтобы пережить в одиночестве свое непоправимое, безнадежное горе.

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он был не только гениальным писателем, но и совершенно родным человеком.

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги.

Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и притом неожиданные.

Каждый раз, собираясь в далекие поездки, я обязательно приходил на Ильинский омут. Я просто не мог уехать, не попрощавшись с ним, со знакомыми ветлами, со всероссийскими этими полями. Я говорил себе: «Вот этот чертополох ты вспомнишь когда-нибудь, когда будешь пролетать над Средиземным морем. Если, конечно, туда попадешь. А этот последний, рассеянный в небесном пространстве розовеющий луч солнца ты вспомнишь где-нибудь под Парижем. Но, конечно, если и туда ты попадешь».

И все сбылось. Действительно, самолет шел над Тирренским морем. Я посмотрел в круглое окно-иллюминатор. В бездонной синеве и глубине появились желтые очертания острова, похожего на цветок чертополоха. Это была Корсика.

Потом я убедился, что острова с воздуха принимают причудливые формы, так же как и кучевые облака. Эти формы им сообщает наше человеческое воображение.

Изорванные многими тысячелетиями, покрытые окалиной жары берега Корсики, ее замки, защищавшие остров, как колючки, алый цвет каких-то кустарников, ливень синего средиземноморского света, прорвавшего невидимую небесную плотину и рухнувшего всей своей тяжестью на остров,— все это не могло оторвать мои мысли от маленькой сыроватой ложбины на Ильинском омуте, где пахло болиголовом и стоял одинокий чертополох высотой в человеческий рост,— неприступный, ощетинившийся своими колючками, своими острыми налокотниками и забралами.

На западном берегу острова горстью выброшенных небрежной рукой игральных костей был рассыпан маленький город. Он выходил из-под крыла самолета, как пчелиные соты. Это было Аяччо — родина Наполеона.

— Все завоеватели — клинические сумасшедшие,— сказал, поглядев на Аяччо, мой сосед — толстый и шутливый итальянец в черных очках.— Как только человек, родившийся и выросший среди такой красоты, стал мировым убийцей! Невозможно понять!

Он с шумом развернул газету, просмотрел одну страницу, отбросил газету в сторону и сказал, ни к кому не обращаясь:

— О-хо-хо! А де Голль, кажется, неплохой католик.

Рим сверкал вдали яростными отражениями солнца в стеклянных стенах многоэтажных новых домов. Радио часто и нервно повторяло, что синьора Парелли ждет у главного выхода аэровокзала его собственная машина.

И мне нестерпимо захотелось домой, в бревенчатый простой дом, на Оку, на Ильинский омут, где меня дожидаются ивы, туманные русские равнинные закаты и друзья.

Что же касается розовеющего луча солнца, то я тоже увидел его несколько дней спустя вблизи Парижа в городке Эрменонвиле, где в старинном поместье провел последние свои годы и умер Жан-Жак Руссо.

Консьержка открыла нам железную калитку, молча взяла плату за вход и сердито махнула рукой — показала, откуда надо начинать осмотр парка. Потом она так же сердито сказала, что дом закрыт и мы можем только погулять по парку.

Парк был пуст. Мы не встретили в нем ни одного человека. Никто бы не помешал нам побеседовать с тенью Руссо, если бы она существовала в этих местах.

Под ногами трещали желтые листья платанов. Они усыпали не только всю землю вокруг, но и гладь туманных прудов.

Никогда в жизни я не видел таких огромных платанов. Они быстро облетали, обнажая свои исполинские кроны. Казалось, они были отлиты из светлой бронзы великим мастером, каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Их вершины окутывал туман, и это придавало деревьям призрачный вид.

Серая тишина стояла вокруг. Парк погружался во мглу. Изредка с ветвей падали нам на руки прозрачные ледяные капли. И всё слетали желтые лапчатые листья. Легкий их треск шел за нами по пятам.

Свинцовое небо простиралось над головой, но цвет этого свинца был все же парижский — легкий и очень светлый.

На острове среди пруда белела гробница Руссо. К ней можно было подъехать только на лодке. Но лодок на пруде не было. И праха Руссо тоже на острове уже не было. Его давно перевезли в Пантеон.

Потом сквозь тюлевую мглу облаков начал просачиваться розовый свет солнца, и платаны вдруг как бы ожили и переменились в лице,— покрылись медным блеском.

Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце,— тоска по нашей простой земле, своим закатам, своем подорожнике и скромном шорохе палой листвы.

Прекрасная Франция, конечно, оставалась великолепной, но равнодушной к нам. Тоска по России легла на сердце. С этого дня я начал торопиться домой, на Оку, где все было так знакомо, так мило и простодушно. У меня холодало под сердцем при одной только мысли, что возвращение на родину может по какой-либо причине задержаться хотя бы на несколько дней.

Я полюбил Францию давным-давно. Сначала умозрительно, а потом вплотную, всерьез. Но я не мог бы ради нее отказаться даже от такой малости, как утренний шафранный луч солнца на бревенчатой стене старой избы. Можно было следить

за движением луча по стене, слушать голосистые вопли деревенских петухов и невольно повторять знакомые с детства слова:

На святой Руси петухи кричат,—
Скоро будет день на святой Руси...

С платанов изредка слетали листья. Сады Эрменонвиля, священные сады, овеянные памятью Руссо, погружались в сумрачный осенний день, такой же короткий, как и у нас в России. Он был так же печален, как и у нас. Что-то родное виделось нам в этом беззвучном тумане, курившемся над прудом, и в молчании близкой ночи.

Нет! Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.

*Июль 1964 года*

## СОДЕРЖАНИЕ


ЗОЛОТАЯ РОЗА. *Повесть* . . . . . . . . . . . . . . . . 7

РАССКАЗЫ

Золотой линь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Последний черт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Кот Ворюга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Желтый свет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Стекольный мастер . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Ручьи, где плещется форель . . . . . . . . . . . . 217

Мещорская сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Подарок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Прощание с летом . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Снег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Телеграмма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Воронежское лето . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Разливы рек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Корзина с еловыми шишками . . . . . . . . . . . . 300

Беглые встречи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Сказочник *(Христиан Андерсен)* . . . . . . . . . . 313

Уснувший мальчик . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Толпа на набережной . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Песчинка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Амфора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Итальянские записи . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Наедине с осенью . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Третье свидание . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Ильинский омут . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

**Паустовский К. Г.**

**П 21** Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 2. Золотая роза. Повесть. Рассказы. М., «Худож. лит.», 1977.

429 стр.

Во второй том избранных произведений известного советского писателя Константина Георгиевича Паустовского вошли повесть «Золотая роза» (1955) — своеобразное исследование о мастерстве художников слова,— а также рассказы разных лет.

**П $\frac{70302\text{-}381}{028(01)\text{-}77}$ без объявл.** **Р2**

**Константин Георгиевич Паустовский**

**ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ**

**ТОМ 2**

Редактор О. Дворцова

Художественный редактор
Ю. Боярский

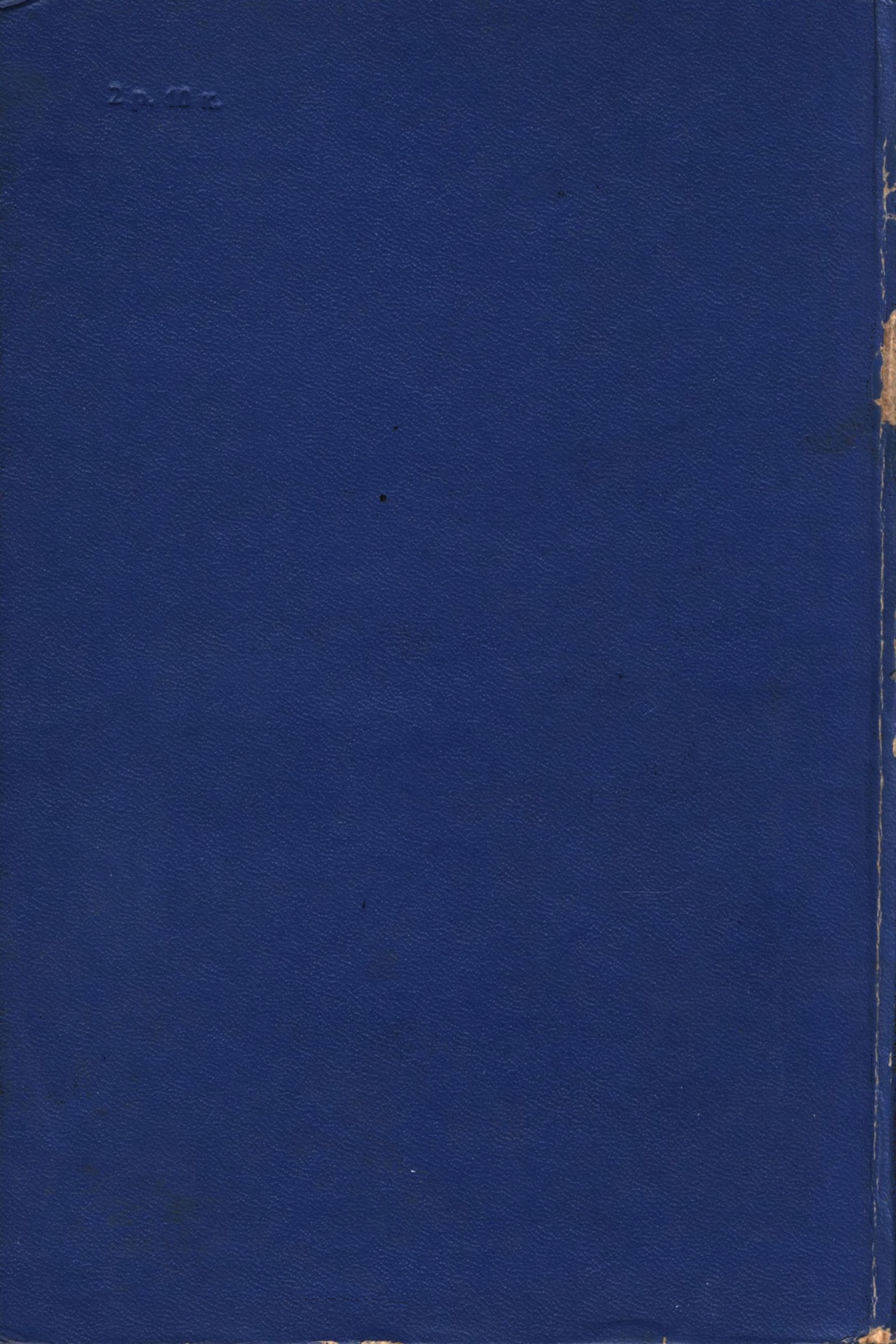
Технический редактор
Л. Ковнацкая

Корректор
Т. Левина

ИБ № 1085
Сдано в набор 31/I 1977г. Подписано в печать 27/V 1977 г. А 13 332. Бумага типографская № 1. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. 27,0 печ. л., 27,0 усл.-печ. л. 27,33 уч.-изд. л. Тираж 400 000 (2-ой завод 150001—300000) экз. Заказ 63. Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Госкомиздата БССР. 220005, Минск-5, Красная, 23


2 р. 10 к.


К Паустовский избранн
2